



Полное собрание сочинений и писем

АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы. Юморески. 1886—1886

Чехов А. П.

Рассказы. Юморески. 1886—1886 / А. П. Чехов — — (Полное собрание сочинений и писем)

Содержание

Отрава	5
Рассказ без конца	8
Шуточка	13
Агафья	16
Мой разговор с почтмейстером	22
Волк	24
В Париж!	28
Весной	32
Много бумаги	35
Кошмар	37
Грач	45
На реке	46
Гриша	50
Любовь	52
Святою ночью	56
Дамы	63
Сильные ощущения	66
О женщинах	69
Знакомый мужчина	71
Сказка	73
Счастливчик	74
Тайный советник	77
Литературная табель о рангах	87
День за городом	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Антон Павлович Чехов

РАССКАЗЫ. ЮМОРЕСКИ.

1886—1886

Отрава

*На земле весь род людской... и т. д.
Из арии Мефистофеля.¹*

Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе Кунст и К°. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а всё это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви... Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней... Чёрту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.

Накануне свадьбы (чёрт зачертил именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал:

– Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом тово... Уговор лучше денег... Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться... Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово... ничего я за Любочкой не даю!

– Ах, не всё ли это равно? – вспыхнул идеалист. – И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!

– То-то... Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал... Человек я, конечно, не бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня кроме Любочки еще пятеро... Так-то, друг милый Петя... Охохоххх... (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь... В случае, ежели что-нибудь этакое... детородность, там, или другое какое событие, то могу помогать... Понемножку могу... Даже сейчас могу...

– Выдумали, ей-богу! – махнул рукой Лысов.

– Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить... Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь!

Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову.

– На, бери! – сказал он. – Ровно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да знаешь, возиться некогда, а ты когда захочешь, тогда и получишь... Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай... А ежели он зафордыбачится, то к судебному приставу...

Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:

– Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет... Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей пианино куплю...

После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене:

¹ *На земле весь род людской...* – Начало куплетов Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст» (II д.).

– Знаешь что, Люба? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шёлковой, знаешь, обивкой... Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, чёрт ее побери, заковыристой лампой... Здесь вот мы поставим мраморный рукомо́йник. Ву компрене?² Ха-ха... В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом... То есть, чёрт знает как хорошо всё это выйдет!

– Нужно будет и занавески к окнам.

– Да, и занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне застать его, чёрта... Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать... Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану...

В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней.

– Доктор дома? – спросил он горничную.

– Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с.

От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала:

– Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйте в кабинет!

Лысов снял шубу и вошел в кабинет...

«А хорошо живет каналья! – подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. – Одна софа, небось, рублей четыреста стоит...»

Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.

– Что у вас? – спросил он, садясь против Лысова.

– Я, г. доктор, собственно говоря, не болен, – начал идеалист, мило улыбаясь, – а пришел к вам по делу... Видите ли, я вчера женился и... мне очень нужны деньги... Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу...

– По какому исполнительному листу? – вытаращил глаза доктор.

– А вот по этому... Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин!

– Бог знает что! – махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. – Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то... Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы чёрт знает из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой... Мне даже совестно за вас!

– Виноват, я думал-с... – сконфузился Лысов, – я не знал-с...

И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал:

– А когда же прикажете за получением приходиться?

– Никогда... Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надоели!

Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

– В таком случае, – сказал он, – извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и... наложить запрещение на ваше имущество!..

– Сколько угодно! Этот ваш Затыкин, или – как его? – Кадыкин знает, что имущество не мое, а женино.

Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.

«Невежа! – думал он. – Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же...»

² Вы понимаете? (*франц.* Vous comprenez?)

Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо... В этом письме он категорически и угрожая судебным приставом просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо... Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу...

Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала... Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о мебелировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние долги, портному, в лавочку... Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал:

– Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет... Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он наверное согласится!..

Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошел в кабинет доктора.

– Вы опять! – поморщился Клябов.

Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.

– Вы можете мне по десяти рублей выплачивать... – кончил он. – Я и на это согласен!

– Вы, извините, просто психопат... – ухмыльнулся Клябов. – Кто же, скажите пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?

– Я принял, потому что думал, что вы будете тово... добросовестны!

– Вот как! Не вам-с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же всё проценты! И я не заплачу... По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.

– Не понимаю я твоего отца! – сказал он Любочке. – Ведь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу... Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей... Слышишь? Поди, так и скажи...

– Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя.

– Аа... для тебя он, значит, дороже мужа! По-твоему, он прав? Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!

Любочка заморгала глазами и заплакала.

– Начинается... – пробормотал Лысов. – Этого еще не доставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь... не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?

И Лысов постучал по столу корешком книги... Этим стуком и завершился медовый месяц...

Рассказ без конца

(Сценка)

В начале третьего часа одной из давно уже пережитых ночей ко мне в кабинет вдруг, неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка и объявила, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишки, старуха Милютиха.

– Просит, барин, чтоб вы к ней сходили... – сказала кухарка, тяжело переводя дух. – С ее жильцом нехорошо случилось... Застрелился или завесился...

– Что же я могу сделать? – сказал я. – Пусть идет к доктору или в полицию!

– Куда ей искать доктора! Она еле дышит и от страха под печку забилась... Сходили бы, барин!

Я оделся и пошел в дом Милютихи. Калитка, к которой я направился, была отворена. Постояв около нее в нерешимости и не нащупав дворницкого звонка, я вошел во двор. Крыльцо, темное и похилившееся, было тоже не заперто. Я отворил его и вошел в сени. Тут ни зги света, сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана. Нашупывая выход из сеней, я ударился локтем о что-то железное и наткнулся в потемках на какую-то доску, которую чуть было не свалил на землю. Наконец дверь, обитая порванным войлоком, была найдена, и я вошел в маленькую переднюю.

Сейчас я пишу не святочный рассказ и далек от намерения пугать читателя, но картина, которую я увидел из сеней, была фантастична и могла быть нарисована одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залик. Полинялые, аспидного цвета обои скупо освещались тремя рядом стоявшими восковыми пятикопеечными свечками. Посреди залаика на двух столах стоял гроб. Восковые свечи горели для того, чтобы освещать маленькое смугло-желтое лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков мешались в беспорядке волны марли и кисеи, а из волн глядели две бледные неподвижные руки с восковым крестиком. Темные, мрачные углы залаика, образа за гробом, гроб – всё, кроме тихо мерцавших огней, было неподвижно-мертвенно, как сама могила...

«Что за чудеса? – подумал я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти. – Откуда такая скоропостижность? Не успел жилец повеситься или застрелиться, как уже и гроб!»

Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным верхом, направо хромая вешалка с поношенной шубенкой...

– Воды дайте... – услышал я стон.

Стон шел слева, из-за двери со стеклянным верхом. Я отворил эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря.

– Здесь есть кто-нибудь? – спросил я.

И, не дожидаясь ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих, на окрашенном кровью полу сидел человек. Сделай я шаг подлиннее, я наступил бы на него. Протянув вперед ноги и упираясь руками о пол, он силился поднять кверху свое красивое, смертельно бледное лицо с черной, как тушь, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел невыразимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание подпиравшихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его на луже крови валялся револьвер.

– Не уходите... – услышал я слабый голос, когда потухла спичка. – Свеча на столе.

Я зажег свечку и, не зная, с чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу, и мне казалось, что я ранее уже где-то видел его.

– Боль нестерпимая, – прошептал он, – а нет сил выстрелить в себя еще раз. Непонятная нерешимость!

Я сбросил с себя пальто и занялся больным. Подняв с пола, как ребенка, я положил его на клеенчатый диван и осторожно раздел. Он дрожал и был холоден, когда я снимал с него одежду; рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дрожи, ни выражению лица больного. Она была ничтожна. Пуля прошла между 5 и 6 ребром левой стороны, разорвав кожу и клетчатку – только. Самую пулю нашел я в складках шюртучной подкладки около заднего кармана. Остановив, как умел, кровь и сделав временную повязку из наволочки, полотенца и двух платков, я дал больному напиток и укрыл его висевшей в передней шубенкой. Во всё время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работал, а он лежал неподвижно и глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза, как бы стыдясь своего неудачного выстрела и тех хлопот, которые он мне причинил.

– Теперь вы потрудитесь лежать покойно, – сказал я, покончив с повязкой, – а я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь.

– Не нужно! – пробормотал он, хватая меня за рукав и открывая глаза во всю их ширь.

В глазах его я прочел испуг. Он боялся, чтобы я не ушел.

– Не нужно! Посидите еще минут пять... десять... Если вам не противно, то сядьте, прошу вас.

Он просил и дрожал, стуча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обзирал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. Какая бедность! У человека, обладавшего красивым, изнеженным лицом и выхоленной окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой, дырявой клеенкой, простой засаленный стул, стол, заваленный бумажным хламом, да прескверная олеография на стене – вот и всё, что я увидел. Сыро, мрачно и серо.

– Какой ветер! – проговорил больной, не открывая глаз. – Как он ноет!

– Да... – сказал я. – Послушайте, мне кажется, что я вас знаю. Вы не участвовали в прошлом году в любительском спектакле у генерала Лухачева на даче?

– А что? – спросил он, быстро открыв глаза. По лицу его пробежала тучка.

– Точно я видел вас там. Вы не Васильев?

– Хоть бы и так, ну так что же? От этого не легче, что вы меня знаете.

– Не легче, но я спросил вас так... между прочим.

Васильев закрыл глаза и, словно обиженный, повернул свое лицо к спинке дивана.

– Не понимаю я этого любопытства! – проворчал он. – Недостает еще, чтобы вы стали допрашивать, какие причины побудили меня к самоубийству!

Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне, открыл глаза и заговорил плачущим голосом:

– Вы извините меня за этот тон, но, согласитесь, я прав! Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и... неделикатно. Удовлетворять праздное любопытство на чужих нервах!

– Напрасно вы волнуетесь... Я и не думал спрашивать вас о причинах.

– Так спросили бы... Это в привычке людей. А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите... Я и сам, признаться, не понимаю... Есть протоколно-газетные термины вроде «безнадежная любовь» и «безвыходная бедность», но причины неизвестны... Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции, в которых дерзают писать «из дневника самоубийцы». Один только бог понимает состояние души человека, отнимающего у себя жизнь, люди же не знают.

– Всё это очень мило, – сказал я, – но вам не следует много говорить...

Но мой самоубийца разошелся. Он подпер голову кулаком и продолжал тоном больного профессора:

– Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства! Где причины? Сегодня причина заставляет хвататься за револьвер, а завтра эта же самая причина кажется не стоящей яйца выеденного... Всё зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время... Взять, например, меня. Полчаса тому назад я страстно желал смерти, теперь же, когда горит свеча и возле меня сидите вы, я и не думаю о смертном часе. Объясните-ка вы эту перемену! Стал ли я богаче, или воскресла моя жена? Повлиял ли на меня этот свет, или присутствие постороннего человека?

– Свет, действительно, влияет... – пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь. – Влияние света на организм...

– Влияние света... Допустим! Но ведь стреляются и при свечах! И мало чести героям ваших романов, если такой пустяк, как свечка, так резко изменяет ход драмы! Вся эта галиматья, может быть, и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать и объяснять нечего...

– Простите, – сказал я, – но... судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы... рисуетесь.

– Да? – спохватился Васильев. – Очень может быть! Я по природе ужасно суетен и фатоват. Ну, вот объясните, если вы верите своей физиономике! Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь... Объясните-ка!

Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые пережил «суетный и фатоватый» человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать и, если я не ошибался, рисоваться!

– Вы здесь? – спросил он, вдруг приподнимаясь на локте. – Боже мой! Нужно только прислушаться!

Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердито стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер.

– «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие»³, – читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.

– Не правда ли, это весело? – прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. – Боже мой, чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! «Не знающих привел бы он в смятение, – как говорит Гамлет, – исторг бы силу из очей и слуха».⁴ Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал! Который час?

– Без пяти три.

– Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробом по грязи, под дождем. Идешь и не видишь ничего, кроме облачного неба да дрянных пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, дровяные склады... брюки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, время тянется, как вечность, народ груб. А на душе камень, камень!

Помолчав немного, он вдруг спросил:

³ «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие...» – Неточная цитата из Библии. Псалтырь, псалом 50, ст. 9—10.

⁴ ...«Не знающих привел бы он в смятение, исторг бы силу из очей и слуха». – Слова Гамлета о странствующем актере-трагике («Гамлет. Трагедия В. Шекспира. Перевод А. Кронеберга». Изд. 2-е. М., 1861, стр. 98. В библиотеке Чехова сохранился экземпляр этого издания – см.: Чехов и его среда, стр. 313).

- Давно видали генерала Лухачева?
- С самого лета не видел.
- Любит петушиться, но милый старикашка. А вы всё пописываете?
- Да, немножко.

– Так... А помните, каким фырсином, восторженным теленком прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело... Даже при воспоминании весной пахнет... А теперь! Какая резкая перемена декораций! Вот вам тема! Только вы не вздумайте писать «дневника самоубийцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое.

- Вы опять... рисуетесь, – сказал я. – В вашем положении ничего нет юмористического.
- Ничего нет смешного? Вы говорите, ничего нет смешного?

Васильев приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу, задрожал подбородок.

– Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают, – сказал он, – но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надула меня моя судьба! Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковый вкладчик, ни один рогатый муж! Прочувствуйте только, в каких смешных дураках я остался! В прошлом году, на ваших глазах, не знал, куда деваться от счастья, а теперь, на ваших же глазах...

Васильев упал головой на подушку и засмеялся.

– Смешнее и глупее такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц... мед, одним словом; вторая глава: искание должности, ссуда денег под залог, бедность, аптека и... завтрашнее шлепанье по грязи на кладбище.

Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти.

– Послушайте, – сказал я, – вы лежите, а я схожу в аптеку.

Он не отвечал. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходя через сени, я взглянул на гроб и читавшую Милютиху. Как я ни напрягал зрения, но не сумел в желто-смуглом лице узнать Зину, бойкую, хорошенькую *ingenue* лухачевской трупы.

«*Sic transit*»⁵, – подумал я.

Затем я вышел, не забыв прихватить с собою револьвер, и отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Васильев лежал у себя на диване в обмороке. Повязка была грубо сорвана, а из растрепанной раны текла кровь. Привести его в чувство мне не удалось до самого утра. Он лихорадочно бредил, дрожал и водил безумными глазами по комнате всё время, пока не наступило утро и не послышался возглас священника, начавшего служить панихиду.

Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гроб тронули с места и понесли со двора, я посоветовал Васильеву оставаться дома. Но он не послушался, несмотря ни на боль, ни на серое, дождливое утро. До самого кладбища шел он за гробом без шапки, молча, едва волоча ноги и изредка конвульсивно хватаясь за раненый бок. Лицо выражало полнейшую апатию. Раз только, когда я каким-то ничтожным вопросом вывел его из забытья, он обвел глазами мостовую, серый забор, и в глазах его на мгновение сверкнула мрачная злоба.

– «Кольское завѣдение», – прочел он вывеску. – Безграмотные невежи, чёрт бы их взял совсем!

С кладбища я повез его к себе.

⁵ «*Sic transit*» – начало *лат.* изречения: *Sic transit gloria mundi* (Так проходит мирская слава).

Прошел еще только год с той ночи, и Васильев еще не успел как следует сносить сапогов, в которых шлепал по грязи за гробом жены.⁶

В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ, он сидит у меня в гостиной и, играя на пианино, показывает дамам, как провинциальные барышни поют чувствительные романсы. Дамы хохочут, и он сам хохочет. Ему весело.

Я зову его к себе в кабинет. Видимо, недовольный тем, что я лишил его приятного общества, он входит ко мне и останавливается передо мной в позе человека, которому некогда. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Он, всегда снисходительный к моему авторству, заглушает свой вздох, вздох читательской лени, садится в кресло и принимается за чтение.

– Чёрт возьми, какие ужасы, – бормочет он, улыбаясь.

Но чем более он углубляется в чтение, тем серьезнее становится его лицо. Наконец, под напором тяжелых воспоминаний, он страшно бледнеет, поднимается и продолжает чтение стоя. Окончив, он начинает шагать из угла в угол.

– Чем же кончить? – спрашиваю я его.

– Чем кончить? Гм...

Он окидывает взглядом комнату, меня, себя... Он видит свой новый модный костюм, слышит смех дам и... упав на кресло, начинает смеяться, как смеялся он в ту ночь.

– Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что всё это смешно? Боже мой! Вынес я на своих плечах столько, сколько слону на спине не выдержать, выстрадал чёрт знает сколько, больше уж, кажется, и выстрадать нельзя, а где следы? Удивительное дело! Казалось бы, вечна, неизгладима и неприкосновенна должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается так же легко, как и дешевые подметки. Ничего не осталось, хоть бы тебе что! словно я тогда не страдал, а мазурку плясал. Превратно всё на свете, и смешна эта превратность! Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, брат, юмористический конец!

– Петр Николаевич, скоро же вы? – зовут моего героя нетерпеливые дамы.

– Сию минуту-с! – говорит «суетный и фатоватый» человек, поправляя галстук. – Смешно, брат, и жаль, жаль и смешно, но что поделаешь? *Nomo sum*...⁷ А все-таки хвалю природу-матушку за ее обмен веществ. Если бы у нас оставалось мучительное воспоминание о зубной боли да о тех страхах, которые приходится каждому из нас переживать, будь всё это вечно, скверно жилось бы тогда на свете нашему брату человеку!

Я смотрю на его улыбающееся лицо, и мне припоминается то отчаяние и тот ужас, которыми полны были его глаза, когда он год тому назад глядел на темное окно. Я вижу, как он, входя в свою обычную роль ученого пустослова, собирается пококетничать передо мною своими праздными теориями вроде обмена веществ, и в это время мне припоминается он, сидящий на полу в луже крови, с больными, умоляющими глазами.

– Чем же кончить? – спрашиваю я себя вслух.

Васильев, посвистывая и поправляя галстук, уходит в гостиную, а я гляжу ему вслед и досадно мне. Жаль мне почему-то его прошлых страданий, – жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то...

⁶ ...Васильев еще не успел как следует сносить сапогов, в которых шлепал по грязи за гробом жены. – Перефразировка слов Гамлета: И башмаков еще не износила, в которых шла, в слезах, как Ниобея, за бедным прахом моего отца! (Назв. изд., стр. 26).

⁷ *Nomo sum* – Начало лат. изречения: *Nomo sum, humani nihil a me alienum puto* (Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо).

Шуточка

Ясный, зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

– Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я. – Один только раз! Уверю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Всё пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

– Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще мгновение, и кажется – мы погибнем!

– Я люблю вас, Надя! – говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать всё тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

– Ни за что в другой раз не поеду, – говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. – Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

– Знаете что? – говорит она, не глядя на меня.

– Что? – спрашиваю я.

– Давайте еще раз... прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса.

– Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес *те* слова? Он, или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

– Не пойти ли нам домой? – спрашиваю я.

– А мне... мне нравится это катанье, – говорит она, краснея. – Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

– Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и всё ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

– Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

– Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются всё те же двое: я и ветер... Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей по-видимому, уже всё равно; из какого сосуда ни пить – всё равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идет вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места... «Жжжж...» – жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург – надолго, должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями... Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

– Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что́ делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали, или она сама вышла – это всё равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...

Агафья

В бытность мою в С—м уезде мне часто приходилось бывать на Дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатанье, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все, на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная: утром не знал, что будет есть в полдень. Не то, чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его... От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии вроде точения ни к чему не нужных колышков или беганья с бабами наперегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению и то только, когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение: ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собою разумеется, что при такой скупости на движения Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре.

Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки – Кутька, а не дальше, как сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом.

Направо от огорода, тихо пошѣптывая и изредка вздрагивая от невзначай налетавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдохавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уж охватывала своей нежасшей, усыпляющей лаской природу.

Всё замирало в первом, глубоком сне, лишь какая-то не известная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ни-ки-ту видел?» и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!»

– Отчего это нынче соловьи не поют? – спросил я Савку.

Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьиной. И тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задергал коростель.

– Вот вам и соловей... – усмехнулся Савка. – Дерг-дерг! Дерг-дерг! Словно за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет.

– Мне нравится эта птица... – сказал я. – Ты знаешь? Во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то всё пешком.

– Ишь ты, собака... – пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля.

Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему всё, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и всё время улыбался от удовольствия.

– А какой край для птиц роднее? – спросил он. – Наш или тамошний?

– Конечно, наш. Тут птица и сама родится, и детей выводит, здесь у нее родина, а туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть.

– Любопытно! – потянулся Савка. – Про что ни говори, всё любопытно. Птица таперя, человек ли... камешек ли этот взять – во всем своя умственность!.. Эх, кабы знатье, барин, что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходиться... Просилась одна нынче придти...

– Ах, сделай милость, я мешать не стану! – сказал я. – Я могу и в роще лечь...

– Ну, вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла... Ежели б она села тут да разговоры слушала, а то ведь только слюни распустил. При ней не поговоришь толком.

– Ты Дарью ждешь? – спросил я, помолчав.

– Нет... Нынче новая просилась... Агафья Стрельчиха...

Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше, я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал... Это была совсем еще молодая бабенка, лет 19—20, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь.

– Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории! – вздохнул я.

– А пусть...

И, немного подумав, Савка прибавил:

– Я говорил бабам, не слушаются... Им, дурам, и горя мало!

Наступило молчание... Потемки, между тем, всё более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились всё ярче, лучистее... Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коростеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а, напротив, придавали ей еще бóльшую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба...

Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной Кутьки на меня и сказал:

– Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать.

И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист; потом он пополз назад и поставил передо мной мою водку и черепенную чашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки на сале, куски черного

хлеба и еще что-то... Мы выпили из кривого, не умеющего стоять стаканчика и принялись за еду... Серая, крупная соль, грязные, сальные лепешки, упругие, как резина, яйца, но зато как всё это вкусно!

– Живешь бобылем, а сколько у тебя добра всякого, – сказал я, указывая на чашку. – Где ты его берешь?

– Бабы носят... – промычал Савка.

– За что же это они тебе носят?

– Так... из жалости...

Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской «жалости». Так, в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить... Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачи, вдруг наострила уши и заворчала. Послышался отдаленный, прерывистый плеск воды.

– Кто-то бродом идет... – сказал Савка.

Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.

– Цыц! – крикнул на нее хозяин.

В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно, – это была Агафья Стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.

– А... это ты! – произнес Савка, запихивая в рот лепешку.

– Я... я-с, – забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. – Клянись вам Яков и велел передать... вот тут что-то такое...

– Ну, что врать: Яков! – усмехнулся Савка. – Нечего врать, барин знает, зачем ты пришла! Садись, гостьей будешь.

Агафья покосилась на меня и нерешительно села.

– А уж я думал, что ты не придешь нынче... – сказал Савка после продолжительного молчания. – Что ж сидеть? Ешь! Или нешто дать тебе водочки выпить?

– Выдумал! – проговорила Агафья. – Пьяницу какую нашел...

– А ты выпей... Жарче на душе станет... Ну!

Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.

– Принесла что-то... – продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно-шутливый оттенок. – Баба без того не может, чтоб чего не принести. А, пирог и картошка... Хорошо живут! – вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. – Во всей деревне только у них еще и осталась с зимы картошка!

Впотьмах я не видел лица Агафьи, но, по движению ее плеч и головы, мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую, мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался.

– Это вчерашний! – сказал он. – Постой же!..

И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще.

– Ну, на что он тебе сдался? – крикнул я ему вслед. – Оставь!

Савка махнул рукой – не кричите, мол – и исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же попусту, как и

сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так, соловьев ловил он непременно руками, стрелял бекасинником шук, или стоит, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку.

Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью... От выпитой водки она уж начинала пьянеть.

– Как живешь, Агаша? – спросил я ее после продолжительного молчания, когда уж неловко было молчать.

– Слава богу... Вы же никому не рассказывайте, барин... – прибавила она вдруг шёпотом.

– Ну, полно, – успокоил я ее. – Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша... А если узнает Яков?

– Не узнает...

– Ну, а вдруг!

– Нет... Я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет...

Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки.

Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села.

– Да что же это он? – не выдержала она. – Ведь поезд не завтра придет! Мне сейчас уходить нужно!

– Савка! – крикнул я. – Савка!

Мне не ответило даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала.

– Мне уходить пора! – проговорила она волнующимся голосом. – Сейчас поезд придет! Я знаю, когда поезда ходят!

Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум.

Агафья остановила долгий взгляд на роще и нетерпеливо зашевелила руками.

– Ну, где же он? – заговорила она, нервно смеясь. – Куда же это его унесла нелегкая? Я уйду! Ей-богу, барин, уйду!

Между тем шум становился всё явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту... еще минута – и всё стихло...

– Погожу еще минутку... – вздохнула Агафья, решительно садясь. – Так и быть, погожу!

Наконец в потемках показался Савка. Он бесшумно ступал босыми ногами по рыхлой, огородной земле и что-то тихо мурлыкал.

– Ведь вот счастье, скажи на милость! – весело засмеялся он. – Только что, это самое, значит, подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал! Ах ты, пес лысый! Ждал, ждал, покуда опять запоет, да так и плюнул...

Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию.

– А ты что насупилась, словно тетка тебя родила? – спросил он.

При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное, презрительное обращение и было одной из причин его сильного, неотразимого обаяния на деревенских дульциней. Он был красив и строен, в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имела влияние на женщин также

еще и трогательная роль Савки как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огороде.

– А расскажи-ка барину, зачем ты сюда пришла! – продолжал Савка, всё еще держа Агафью за талию. – Ну-ка, расскажи, мужнина жена! Хо-хо... Нешто нам, брат Агаша, еще водочки выпить?

Я поднялся и, пробираясь между грядками, пошел вдоль огорода. Темные грядки глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом вскопанной земли и нежной сыростью растений, начавших покрываться росой... Налево всё еще светился красный огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался.

Я услышал счастливый смех. То смеялась Агафья.

«А поезд? – вспомнил я. – Поезд давно уже пришел».

Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоящую из одних только односложных слов, что-то вроде: «Фу ты, ну ты... я да ты...» Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотою ночи, лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода.

– Агаша, а ведь поезд давно уж пришел! – сказал я.

– Пора, пора тебе, – подхватил мою мысль Савка, встряхивая головой. – Что разлеглась тут? Ты, бесстыжая!

Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня и опять припала к нему.

– Давно уж пора! – сказал я.

Агафья заворочалась и привстала на одно колено... Она страдала... Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебание. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги, но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она припала к Савке.

– А ну его! – сказала она с диким, грудным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль.

Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла, – ничего не поймалось... Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел... Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив...

– А-га-фья!.. – донесся из деревни чей-то глухой голос. – Агафья!

То вернувшийся и встревоженный муж искал по деревне свою жену. А с огородов слышался в это время несдерживаемый смех: жена забылась, опьянела и счастлием нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее назавтра муку.

Я уснул.

Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечо. Река, роща, оба берега, зеленые и умытые, деревня и поле – всё было залито ярким утренним светом. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца.

– Так-то вы рыбу ловите? – усмехнулся Савка. – Ну, вставайте!

Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный, душистый воздух.

– Агаша ушла? – спросил я.

– Вон она, – указал мне Савка в сторону, где был брод.

Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанная, со сползшим с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле...

– Знает кошка, чье мясо съела! – бормотал Савка, щуря на нее глаза. – Идет и хвост поджала... Шкодливы эти бабы, как кошки, трусливы – как зайцы... Не ушла, дура, вчера, когда говорили ей! Теперь ей достанется, да и меня в волости... опять за баб драть будут...

Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое: она пугливо обернулась, остановилась и перевела дух.

– То-то, что страшно! – грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой траве вслед за Агафьей. – Не хочется идти! Муж-то уж целый час стоит и поджидает... Видали его?

Савка сказал последние слова улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне, около крайней избы, на дороге, стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что он думал, глядя на нее? Какие слова готовил для встречи? Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Никогда я еще не видал такой походки ни у пьяных, ни у трезвых. Агафью будто корчило от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разводя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов сто, она оглянулась еще раз и села.

– Ты бы хоть за куст спрятался... – сказал я Савке. – Неравно тебя муж увидит...

– Он и без того знает, от кого это Агашка идет... На огород по ночам бабы не за капустой ходят – всем известно.

Я взглянул на лицо Савки. Оно было бледно и морщилось брезгливою жалостью, какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных.

– Кошке смех, мышке слезы... – вздохнул он.

Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась с силами и решила.

Мой разговор с почтмейстером

– Скажите, пожалуйста, Семен Алексеич, – обратился я к почтмейстеру, получая от него денежный пакет на один (1) рубль, – зачем это к денежным пакетам прикладывают пять печатей?

– Нельзя без этого... – ответил Семен Алексеич, значительно пошевелив бровями.

– Почему же?

– А потому... Нельзя!

– Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания, они наносят ущерб казначейству. Если и приносят они кому-нибудь видимую пользу, то разве только сургучным фабрикантам...

– Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить... – глубокомысленно заметил Семен Алексеич.

– Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще... Нет, серьезно, Семен Алексеич, какой смысл имеют эти пять печатей? Нельзя же ведь думать, чтобы они прикладывались зря! Имеют они значение символическое, пророческое, или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик!

Семен Алексеич подумал, вздохнул и сказал:

– М-да... Стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают!

– Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки, они, быть может, имели смысл как предохранительное средство от посягателей, теперь же...

– Вот видите! – обрадовался почтмейстер. – А нешто посягателей нет?

– Теперь же, – продолжал я, – у конвертов есть подклейка из гуммиарабика, который прочнее всякого сургуча. К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатывать, не понимаю! Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить – раз плюнуть!

– Это верно... – вздохнул Семен Алексеич. – От своих воров не убережешься...

– Ну, вот видите! К чему же печати?

– Ежели во всё входит... – протяжно произнес почтмейстер, – да обо всем думать, как, почему да зачем, так это мозги раскорячатся, а лучше делай так, как показано... Право!

– Это справедливо... – согласился я. – Но позвольте еще один вопрос... Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Взять для примера хоть мою мамашу, которая посылала мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Не-ет-с, легче ей еще пятерых детей произвести, чем этот рубль посылать... Судите сами... Прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей! Старушка стоит, а тут ей: «Погодите! Не толпитесь! Прошу не облакачиваться!»

– Без этого нельзя...

– Нельзя, но позвольте... Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хмурится и бросает назад. «Вы, говорит, забыли написать „денежное“»... Моя старушенция идет с почты в лавочку, чтоб написать там «денежное», из лавочки опять на почту ждать очереди... Ну-с, приемщик опять берет пакет, считает деньги и говорит: «Ваш сургуч?» А у моей мамашы этого сургуча даже в воображении нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете,

гривенник за палочку стоит. Приемщик, конечно, обижается и начинает суслить пакет казенным сургучом. Такие печати насулит, что не лотами, а берковцами считать приходится.⁸ «Вашу, говорит, печатку!» А у моей мамыши, кроме наперстка да стальных очков – никакой другой мебели...

– Можно и без печати...

– Но позвольте... Засим следуют весовые, страховые, за сургуч, за расписку, за... голова кружится! Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь... Ну-с, рубль записывают в 20-ти книгах и, наконец, посылают... Получаете теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в 20-ти книгах записываете, пятью номерами номеруете и за десять замков прячете, словно разбойника какого или святотатца. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать: «Ах, мамыша, мамыша! За что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот!»

– А на родителей грех роптать! – вздохнул Семен Алексеич.

– То-то вот оно и есть! Грех, но как не возроптать? Тут дела по горло, а ты иди в полицию и удостоверь личность и подпись... Хорошо еще, что удостоверение только 10—15 коп. стоит, – а что, если б за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеич, меня отлично знаете... И в бане я с вами бывал, и чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали... Для чего же вам удостоверение моей личности?

– Нельзя, форма!.. Форма, сударь мой, это такой предмет, что... лучше и не связываться... Формалистика, одним словом!

– Но ведь вы меня знаете!

– Мало ли что! Я знаю, что это вы, ну... а вдруг это не вы? Кто вас знает! Может, вы инкогнито!

– И рассудили бы вы: какой мне расчет подделывать чужую подпись, чтоб украсть деньги? Ведь это подлог-с! Гораздо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука... Нет-с, Семен Алексеич, за границей это дело проще поставлено. Там почтальон входит к вам и – «Вы такой-то? Получите деньги!»

– Не может этого быть... – покачал головой почтмейстер.

– Вот вам и не может быть! Там всё зиждется на взаимном доверии... Я вам доверяю, вы мне... Намедни приходит ко мне квартальный надзиратель получать судебные издержки... Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал! Мы, обыватели, не требуем с вас, а вы...

– Ежели во всё вникать, – перебил меня Семен Алексеич, грустно усмехаясь, – да ежели всё решать, как, что, почему да зачем, так, по-моему, лучше...

Почтмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал:

– Не нашего ума это дело!

⁸ ...не лотами, а берковцами считать приходится. – Лоты и берковцы – старые русские меры веса. Лот – 12,8 г, берковец – 163,8 кг.

Волк

Помещик Нилов, плотный, крепкий мужчина, славящийся на всю губернию своей необыкновенной физической силой, и следователь Куприянов, возвращаясь однажды вечером с охоты, завернули на мельницу к старику Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только две версты, но охотники так утомились, что идти дальше не захотели и порешили сделать на мельнице продолжительный привал. Это решение имело тем больший смысл, что у Максима водились чай и сахар, а при охотниках имелся приличный запас водки, коньяку и разной домашней снеди.

После закуски охотники принялись за чай и разговорились.

– Что новенького, дед? – обратился Нилов к Максиму.

– Что новенького? – усмехнулся старик. – А то новенького, что собираюсь у вашей милости ружьеца попросить.

– На что тебе ружье?

– Чего-с? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я ведь это только так спрашиваю, для пущей важности... Всё равно стрелять не вижу. Шут его знает, откуда бешеный волк взялся. Второй уж день, как тут бегаёт... Вчера ввечеру около деревни жеребенка и двух собак зарезал, а нынче чуть свет выхожу я, а он, проклятый, сидит под ветлой и бьёт себя лапой по морде. Я на него – «тю!», а он глядит на меня, как нечистая сила... Я в него камнем, а он заклацал зубами, засветил очами, как свечками, и подался к осиновому узлеску... Испугался я до смерти.

– Чёрт знает что... – пробормотал следователь. – Бешеный волк бегаёт, а мы тут шатаемся...

– Ну, так что же? Ведь мы с ружьями.

– Не станете же вы стрелять в волка дробью...

– Зачем стрелять? Можно просто прикладом уложить.

И Нилов стал доказывать, что нет ничего легче, как убить волка прикладом, и рассказал один случай, когда он одним ударом обыкновенной трости уложил на месте напавшую на него большую бешеную собаку.

– Вам хорошо рассуждать! – вздохнул следователь, с завистью поглядев на его широкие плечи. – Силища у вас – слава тебе господи, на десятерых хватит. Не то что тростью, вы и пальцем собаку уложите. Простой же смертный пока соберётся поднять палку, да пока наметит место, по которому ударить, да пока что, собака успеет его раз пять укусить. Неприятная история... Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь. Когда мне впервые довелось увидеть бешеного человека, я дней пять потом ходил, как шальной, и возненавидел тогда всех в мире собачников и собак. Во-первых, ужасна эта скоропостижность, экспромтность болезни... Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и вдруг ни с того ни с сего – цап его бешеная собака! Человеком моментально овладевает ужасная мысль, что он погиб безвозвратно, что нет спасения... Засим можете себе вообразить томительное, гнетущее ожидание болезни, не оставляющее укушенного ни на одну минуту. За ожиданием следует сама болезнь... Ужаснее же всего, что эта болезнь неизлечима. Уж коли заболел, то пиши пропало. В медицине, насколько мне известно, нет даже намёка на возможность излечения.

– А у нас на деревне лечат, барин! – сказал Максим. – Мирон кого угодно вылечит.

– Чепуха... – вздохнул Нилов. – Насчет Мирона всё это одни только разговоры. Прошлым летом на деревне Степку искусила собака и никакие Мироны не помогли... Как ни поили его всякою дрянью, а все-таки взбесился. Нет, дедуся, ни черта не поделаешь. Случись со мною такая оказия, укуси меня бешеная собака, я бы себе пулю пустил в лоб.

Страшные рассказы о водобоязни имели свое действие. Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни и счастья

человека от случайностей и пустяков, по-видимому, ничтожных, не стоящих, как говорится, яйца выеденного. Всем стало скучно и грустно.

После чаю Нилов потянулся и встал... Ему захотелось выйти наружу. Походив немного около закровов, он отворил маленькую дверцу и вышел. На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. От реки веяло тихим, непробудным сном.

На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блесло звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло...⁹

Нилов вздохнул всей грудью и взглянул на реку... Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась... Но вдруг Нилову показалось, что на том берегу, повыше кустов ивняка, что-то похожее на тень прокатилось черным шаром. Он прищурил глаза. Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами покатила к плотине.

«Волк!» – вспомнил Нилов.

Но прежде чем в голове его мелькнула мысль о том, что нужно бежать назад, в мельницу, темный шар уже катился по плотине, не прямо на Нилова, а зигзагами.

«Если я побегу, то он нападет на меня сзади, – соображал Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. – Боже мой, даже палки нет! Ну, буду стоять и... и задущу его!»

И Нилов стал внимательно следить за движениями волка и за выражением его фигуры. Волк бежал по краю плотины, уже поравнялся с ним...

«Он мимо бежит!» – подумал Нилов, не спуская с него глаз.

Но в это время волк, не глядя на него и будто нехотя, издал жалобный, скрипучий звук, повернул к нему морду и остановился. Он точно соображал: напасть или пренебречь?

«Ударить по голове кулаком... – думал Нилов. – Ошеломить...»

Нилов так растерялся, что не понял, кто первый начал борьбу: он или волк? Он только понял, что настал какой-то особенно страшный, критический момент, когда понадобилось сосредоточить всю силу в правой руке и схватить волка за шею около затылка. Тут произошло нечто необыкновенное, чему трудно поверить и что самому Нилову казалось сном. Схваченный волк жалобно зарычал и рванулся с такой силой, что складка кожи, холодная и мокрая, сжатая рукою Нилова, заскользила между пальцами. Волк, стараясь высвободить свой затылок, поднялся на задние лапы. Тогда Нилов левой рукой схватил его за правую лапу, сжал ее у самой подмышки, потом быстро отнял свою правую руку от затылка волка и, сжавши ею левую подмышку, поднял волка на воздух. Всё это было делом одного мгновения. Чтобы волк не укусил его за руки и чтобы не дать его голове ворочаться, Нилов большие пальцы обеих рук вонзил в его шею около ключиц, словно шпоры... Волк уперся лапами в его плечи и, получив таким образом точку опоры, затрясся с страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя он не мог, протянуть же морду к его лицу и плечам ему мешали пальцы, давившие его шею и причинявшие ему сильную боль...

⁹ На плотине ~ глядели сердито, уныло ~ что-то похожее на тень прокатилось черным шаром. – Этому описанию Чехов придавал программное значение. 10 мая 1886 г. он писал брату Александру Павловичу: «По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер а ргого. Общие места вроде: „Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом“ и проч. „Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали“, – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром черная тень собаки или волка и т. д. Природа является одушевленной, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений ее с человеческими действиями...» В IV действии «Чайки» (1896) Чехов использовал для иллюстрации художественных приемов Тригорина тот же образ лунной ночи в противопоставлении устаревшим длинным описаниям с «общими местами».

«Скверно! – думал Нилов, оттягивая возможно дальше назад свою голову. – Слюна его попала мне на губу. Стало быть, всё равно уже пропал, даже если и избавлюсь от него каким-нибудь чудом».

– Ко мне! – закричал он. – Максим! Ко мне!

Оба, Нилов и волк, головы которых были на одном уровне, глядели в глаза друг другу... Волк щелкал зубами, издавал скрипучие звуки и брызгал... Задние лапы его, ища опоры, ерзали по коленям Нилова... В глазах светилась луна, но не видно было ничего, похожего на злобу; они плакали и походили на человеческие.

– Ко мне! – закричал еще раз Нилов. – Максим!

Но на мельнице его не слышали. Он инстинктивно чувствовал, что от громкого крика может убавиться его сила, а потому кричал не громко...

«Буду пятиться назад... – решил он. – Дойду задом до дверей и там крикну».

Он начал пятиться, но не прошел и двух аршин, как почувствовал, что его правая рука слабеет и отекает. Затем вскоре наступил момент, когда он услышал свой собственный душу раздражающий крик и почувствовал острую боль в правом плече и влажную теплоту, разлившуюся вдруг по всей руке и по груди... Затем он слышал голос Максима, понял выражение ужаса на лице прибежавшего следователя...

Выпустил он из рук своего врага, когда у него насильно уж разжали пальцы и доказали ему, что волк убит... Отуманенный сильными ощущениями, чувствуя уж кровь на бедрах и в правом сапоге, близкий к обмороку, вернулся он на мельницу... Огонь, вид самовара и бутылок привели его в чувство и напомнили ему все только что пережитые им ужасы и опасность, которая для него только что еще начиналась. Бледный, с широкими зрачками и с мокрой головой, он сел на мешки и в изнеможении опустил руки. Следователь и Максим раздели его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волк порвал кожу на всем плече и тронул даже мускулы.

– Отчего вы не бросили его в реку? – возмутился бледный следователь, останавливая кровотечение. – Отчего в реку вы его не бросили?

– Не догадался! Боже мой, не догадался!

Следователь начал было утешать и обнадеживать, но после тех густых красок, на которые он был так щедр, когда раньше описывал водобоязнь, всякие утешительные речи были бы неуместны, а потому он почел за лучшее молчать. Перевязавши кое-как рану, он послал Максима в усадьбу за лошадьми, но Нилов не стал дожидаться экипажа и пошел домой пешком.

Утром часов в шесть он, бледный, непричесанный, похудевший от боли и бессонной ночи, приехал на мельницу.

– Дед, – обратился он к Максиму, – вези меня к Мирону! Скорей! Идем, садись в коляску!

Максим, тоже бледный и не спавший всю ночь, сконфузился, несколько раз оглянулся и сказал шёпотом:

– Не надо, барин, к Мирону ехать... И я, извините, лечить умею.

– Хорошо, только скорее, пожалуйста!

И Нилов нетерпеливо затопал ногами. Старик поставил его лицом к востоку, прошептал что-то и дал ему хлебнуть из кружки какой-то противной, теплой жидкости с полынным вкусом.

– А Степка умер... – пробормотал Нилов. – Допустим, что у народа есть средства, но... но почему же Степка умер? Ты все-таки свези меня к Мирону!

От Мирона, которому он не верил, он поехал в больницу к Овчинникову. Получив здесь пилюли из белладонны и совет лечь в постель, он переменял лошадей и, не обращая внимания на страшную боль в руке, поехал в город, к городским докторам...

Дня через четыре, поздно вечером, он вбежал к Овчинникову и повалился на диван.

– Доктор! – начал он, задыхаясь и вытирая рукавом пот с бледного, похudevшего лица. – Григорий Иваныч! Делайте со мной что хотите, но дольше оставаться я так не могу! Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте! Бога ради! Я сошел с ума!

– Вам нужно лечь в постель, – сказал Овчинников.

– Ах, подите вы с вашим лежаньем! Я вас спрашиваю толком, русским языком: что мне делать? Вы врач и должны мне помочь! Я страдаю! Каждую минуту мне кажется, что я начинаю беситься. Я не сплю, не ем, дело валится у меня из рук! У меня вот револьвер в кармане. Я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себе пулю в лоб! Григорий Иваныч, ну да займитесь же мною бога ради! Что мне делать? Вот что, не поехать ли мне к профессорам?

– Это всё равно. Поезжайте, если хотите.

– Послушайте, а если я, положим, объявлю конкурс, что если кто вылечит, то получит пятьдесят тысяч? Как вы думаете, а? Впрочем, пока напечатаешь, пока... то успеешь раз десять взбеситься. Я готов теперь всё состояние отдать! Вылечите меня, и я дам вам пятьдесят тысяч! Займитесь же ради бога! Не понимаю этого возмутительного равнодушия! Поймите, что я теперь каждой мухе завидую... я несчастлив! Семья моя несчастна!

У Нилова затряслись плечи, и он заплакал...

– Послушайте, – начал утешать его Овчинников. – Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденного состояния. Что вы плачете? И зачем так преувеличивать опасность? Поймите, ведь у вас гораздо больше шансов не заболеть, чем заболеть. Во-первых, из ста укушенных заболевает только тридцать. Потом, что очень важно, волк кусал вас через одежду, значит, яд остался на одежде. Если же в рану и попал яд, то он должен был вытечь с кровью, так как у вас было сильное кровотечение. Относительно водобоязни я совершенно покоен, а если меня и беспокоит что-нибудь, так это только рана. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь вроде.

– Вы думаете? Утешаете вы или серьезно?

– Честное слово, серьезно. Возьмите-ка, почитайте! Овчинников взял с полки книгу и, пропуская страшные места, стал читать Нилову главу о водобоязни.

– Стало быть, вы напрасно беспокоитесь, – сказал он, кончив чтение. – Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами неизвестно, был ли то бешеный волк или здоровый.

– М-да... – согласился Нилов, улыбаясь. – Теперь понятно, конечно... Стало быть, всё это чепуха?

– Разумеется, чепуха.

– Ну, спасибо, родной... – засмеялся Нилов, весело потирая руки. – Теперь, умница вы этакий, я покоен... Я доволен и даже счастлив, ей-богу... Нет, честное слово... даже.

Нилов обнял Овчинникова и поцеловал его три раза. Потом на него напал мальчишеский задор, к которому так склонны добродушные, физически сильные люди. Он схватил со стола подкову и хотел ее разогнуть, но, обессилев от радости и от боли в плече, он ничего не мог сделать; ограничился только тем, что обнял доктора левою рукой ниже талии, поднял его и пронес на плече из кабинета в столовую. Вышел он от Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним вместе радовались и слезинки, блестевшие на его широкой черной бороде. Спускаясь вниз по ступеням, он засмеялся басом и потряс перила крыльца с такой силой, что одна балясина выскочила и всё крыльцо затрепетало под ногами Овчинникова.

«Какой богатырь! – думал Овчинников, с умилением глядя на его большую спину. – Какой молодец!»

Севши в коляску, Нилов опять стал с самого начала и с большими подробностями рассказывать о том, как он на плотине боролся с волком.

– Была игра! – кончил он, весело смеясь. – Будет о чем вспомнить в старости. Погоняй, Тришка!

В Париж!

Секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин однажды под вечер возвращались с именин полицейского надзирателя Вонючкина. Идя под руку, они вместе очень походили на букву «Ю». Грязнов тонок, высок и жилист, одет в обтяжку и похож на палку, а Лампадкин толст, мясист, одет во всё широкое и напоминает ноль. Оба были навеселе и слегка пошатывались.

– Рекомендована новая грамматика Грота [...*новая грамматика Грота*... – Работа академика Я. К. Грота «Русское правописание», СПб., 1885 (впервые опубликована в «Сборнике отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», том XXXVI, № 1, СПб., 1885, стр. 1—144). Главные положения этого труда легли в основу унификации русского письма, предпринятой в конце XIX века. Однако Грот сохранил написание букв ять, фиты, ижицы и і, употребление которых не было регламентировано определенными правилами. Имея в виду половинчатость мер, которые предлагал Я. К. Грот, Чехов писал 18 января 1887 г. М. Е. Чехову: «Если б от меня зависело, я упразднил бы и ять, и фиту (дурацкая буква!), и ижицу, и і. Эти буквы мешают только школьному делу, вводят в конфуз деловых людей, которым нет времени учиться грамматическим тонкостям, и составляют совершенно излишнее украшение нашей грамматики». Употребление буквы ъ как показатель грамотности человека Чехов высмеял в «Правилах для начинающих авторов» (1885), в рассказах «Мыслитель» (1885) и «Розовый чулок» (1886).

Рассказ «В Париж!» был написан в разгар возникших по поводу предложений Грота споров, и реакция Лампадкина на «новую грамматику» отражала мнение многих преподавателей-словесников того времени. В начале 1886 г. в Петербурге вышла, например, книга М. Е. Доброписцева «Возможно ли применить русское правописание Я. К. Грота на практике?»], – бормотал Лампадкин, всхлипывая своими полными грязи калошами. – Грот доказывает ту теорию, что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужского рода имеют не *аго*, а *ого*... Вот тут и понимай! Вчера Перхоткина без обеда за *ого* в слове *золотого* оставил, а завтра, значит, должен буду перед ним глазами лупать... Стыд! Срам!

Но Грязнов не слушал ученых разговоров педагога. Всё его внимание было обращено на грязный мостик перед трактиром Ширяева, где на этот раз происходило маленькое недо-разумение. Дюжины две обывательских собак, сомкнувшись цепью, окружали черную шершавую дворняжку и наполняли воздух протяжным, победным лаем. Дворняжка вертелась, как на иголках, скалила на врагов зубы и старалась поджать как можно дальше под живот свой оципаный хвост. Случай не важный, но секретарь управы принадлежит к числу тех восприимчивых, легко воспаляющихся натур, которые не могут равнодушно видеть, если кто ссорится или дерется. Поравнявшись с группой собак, он не утерпел, чтобы не вмешаться.

– Рви его! Куси, анафему! Фюйть! – начал он рычать и подсвистывать, примыкая к соба-чье цепи. – Рррр... Так его! Жарь!

И, чтобы еще больше раззадорить собак, он нагнулся и дернул дворняжку за заднюю ногу. Та взвизгнула и, прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она перепрыгнула через цепь, мимоходом цапнула Лампадкина за икру и побежала вдоль по улице. Собаки за ней...

– Ах, ты, шут! – закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем. – Чтоб тебя раздавило, чёртова тварь! Лови! Бей!

– Лови! – раздались голоса, мешаясь со свистками. – Гони! Бей! Братцы, бешеная! Хвост поджала и морду вниз держит! Самая она и есть бешеная! Тю!

Приятеля дождалась, когда собаки скрылись из виду, взяли под руки и пошли дальше. Придя домой (педагог за 7 руб. в месяц жил и столовался у секретаря), они уже забыли историю

с дворняжкой... Сняв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, философски-благодушное... Но часа через полтора, когда они с теткой, свояченицей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за столом и играли в фофана¹⁰, вдруг неожиданно явился уездный врач Каташкин и несколько нарушил их покой.

– Ничего, ничего... я не дама! – начал пришедший, видя, как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые и босые ноги. – Меня, господа, к вам прислали! Говорят, что вас обоих укусила собака!

– Как же, как же... укусила, – сказал Грязнов, ухмыляясь во всё лицо. – Очень приятно! Садитесь, Митрий Фомич! Давно не видались, побей меня бог... Чаю не хотите ли? Глаша, водочку принеси! Вы чем закусывать будете: редькой или колбасой?

– Говорят, что собака бешеная! – продолжая доктор, встревоженно глядя на приятелей. – Бешеная она или нет, но все-таки нельзя относиться так небрежно. Чем чёрт не шутит? Покажите-ка, где она вас укусила?

– А, да наплюйте! – махнул рукой секретарь. – Укусила чуть-чуть... за палец... От этого не сбесишься... Может, вы пиво пить будете? Глашка, беги к жидовке и скажи, чтоб в долг две бутылки пива дала!

Каташкин сел и, насколько у него хватало силы перекричать пьяных, начал пугать их водобоязнью... Те сначала ломались и бравовировали, но потом струсили и показали ему укушенные места. Доктор осмотрел раны, прижег их ляписом и ушел. После этого приятели легли спать и долго спорили о том, из чего делается ляпис.

На другой день утром Грязнов сидел на самой верхушке высокого тополя и привязывал там скворечню. Лампадкин стоял внизу под деревом и держал молоток и веревочки. Садик секретаря был еще весь в снегу, но от каждой веточки и мокрой коры деревьев так и веяло весной.

– Грот доказывает еще ту теорию, – бормотал педагог, – что ворота не среднего рода, а мужеского. Гм... Значит, писать нужно не красныя ворота, а красные... Ну, это пусть он облизнется! Скорей в отставку подам, чем изменю насчет ворот свои убеждения.

И педагог раскрыл уже рот и величественно поднял вверх молоток, чтобы начать громить ученых академиков, как в это время скрипнула садовая калитка, и в сад нежданно-негаданно, словно чёрт из люка, вошел уездный предводитель Позвоночников. Увидев его, Лампадкин от изумления побледнел и выронил молоток.

– Здравствуйте, милейший! – обратился к нему предводитель. – Ну, как ваше здоровье? Говорят, что вас и Грязнова вчера бешеная собака искусала!

– Может, она вовсе не бешеная! – пробормотал с верхушки тополя Грязнов. – Одни только бабьи разговоры!

– Может быть; а может быть, и бешеная! – сказал предводитель. – Так ведь нельзя рассуждать... На всякий случай нужно принять меры!

– Какие же меры-с? – тихо спросил педагог – Нас вчера прижигали-с!

– Сейчас мне говорил доктор, но этого недостаточно. Нужно что-нибудь более радикальное. В Париж бы ехали, что ли... Да так, вероятно, и придется вам сделать: езжайте в Париж!

Педагог выронил веревочки и окаменел, а секретарь от удивления едва не свалился с дерева...

– В Пари-иж? – протянул он. – Да что я там буду делать?

– Вы поедете к Пастеру... Конечно, это немножко дорого будет стоить, – но что делать? Здоровье и жизнь дороже... И вы успокойтесь, да и мы будем покойны... Я сейчас говорил с председателем Иваном Алексеичем. Он думает, что управа даст вам на дорогу... С своей

¹⁰ ...играли в фофана... – Фофан – игра в карты.

стороны моя жена жертвует вам двести рублей... Что же вам еще нужно? Собирайтесь! А пачпорты я быстро вам выхлопочу...

– Сбесились, чудаки! – ухмыльнулся Грязнов по уходе предводителя. – В Париж! Ах, дурни, прости господи! Добро бы еще в Москву или в Киев, а то – на тебе!.. в Париж! И из-за чего? Хоть бы собака путевая, породистая какая, а то из-за дворняжки – тьфу! Скажи на милость, каких аристократов нашел: в Париж! Чтоб я пропал, ежели поеду!

Педагог долго в раздумье глядел на землю, потом весело заржал и сказал вдохновенным голосом:

– Знаешь, что, Вася? Поедем! Накажи меня господь, поедем! Ведь Париж, заграница... Европа!

– Чего я там не видел? Ну его!

– Цивилизация! – продолжал восторгаться Лампадкин. – Господи, какая цивилизация! Виды эти, разные Везувии... окрестности! Что ни шаг, то и окрестности! Ей-богу, поедем!

– Да ты очумел, Илюшка! Что мы там с немцами делать будем?

– Там не немцы, а французы!

– Один шут! Что я с ними буду делать? На них гляючи, я со смеху околею! При моем характере я их всех там перебью! Поезжай только, так сам не рад будешь... И оберут и оскоромишься... А еще, чего доброго, вместо Парижа попадешь в такую поганую страну, что потом лет пять плевать будешь...

Грязнов наотрез отказался ехать, но, тем не менее, вечером того же дня приятели ходили, обнявшись, по городу и рассказывали встречным о предстоящей поездке. Секретарь был угрюм, зол и беспокоен, педагог же восторженно размахивал руками и искал, с кем бы поделиться своим счастьем...

– Всё бы ничего, коли б не этот Париж! – утешал себя вслух Грязнов. – Не жизнь, а малина! Все жалостно на тебя смотрят, везде, куда ни придешь, закуска и выпивка, все деньги дают, но... Париж! За каким шутком я туда поеду? Прощай, братцы! – останавливал он встречных. – В Париж едем! Не поминай лихом! Может, и не увидимся больше.

Через пять дней на местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собрались все интеллигенты, начиная с предводителя и кончая подслеповатым пасынком надзирателя Вонючкина. Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а мировиха дала им сто рублей с просьбой купить по образчику материи... Благопожеланиям, вздохам и стенаниям конца не было. Тетка, свояченица и четыре сестры Грязнова разливались в три ручья. Педагог, видимо, храбрился и не унывал, секретарь же, выпивший и расчувствовавшийся, всё время надувался, чтобы не заплакать... Когда пробили второй звонок, он не вынес и разревелся...

– Не поеду! – рванулся он от вагона. – Пусть лучше сбешусь, чем к пастору ехать! Ну его!

Но его убедили, утешили и посадили в вагон. Поезд тронулся.

Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня после проводов, сестры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой Лампадкина. Педагог был красен, выпачкан в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение, но скоро, когда стукнула калитка и послышалось из сеней знакомое сопенье, явление потеряло свой спиритический характер. Сестры замерли от удивления и, вместо вопроса, обратили к пришедшему свои вытянувшиеся, побледневшие лица. Педагог замигал глазами и махнул рукой, потом заплакал и еще раз махнул рукой.

– Приехали это мы в Курск... – начал он, хрипло плача. – Вася мне и говорит: «На вокзале, говорит, дорого обедать, а пойдем, говорит, тут около вокзала трактир есть. Там и пообедаем». Мы взяли с собой чемоданы и пошли (педагог всхлипнул)... А в трактире Вася рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой... «Ты, кричит, меня на погибель везешь!» Шуметь начал... А как

после водки херес стал пить, то... протокол составили. Дальше – больше и... всё до копейки!
Еле на дорогу осталось...

– Где же Вася? – встревожились девицы.

– В Ку... Курске... Просил, чтоб вы ему скорей на дорогу денег выслали...

Педагог мотнул головой, утер лицо и добавил:

– А Курск хороший город! Очень хороший! С удовольствием там день прожил...

Весной

С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали от тяжелой болезни, то вам известно блаженное состояние, когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без всякой причины. По-видимому, такое же состояние переживает теперь и природа. Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как кругом всё весело, ласково, приветливо! Воздух так ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет; она уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. Деревья голы, но уже живут, дышат.

В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в канавах, пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лед. Хорошо также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и привязывать там скворечни. Да, всё хорошо в это счастливое время года, в особенности если вы молоды, любите природу, и если вы не капризны, не истеричны, и если по службе не обязаны сидеть в четырех стенах с утра до вечера. Нехорошо, если вы больны, если чахнете в канцелярии, если знаете с музами.

Да, весной не следует знаться с музами.

Вы поглядите, как хорошо, как славно чувствуют себя обыкновенные люди. Вот садовник Пантелей Петрович, спозаранку нарядился в широкополую соломенную шляпу и никак не может расстаться с маленьким сигарным окурком, который он поднял еще утром на аллее; посмотрите: он стоит, подбоченясь, перед кухонным окном и рассказывает повару, какие он вчера купил себе сапоги. Вся его длинная и узкая фигура, за которую его вся дворня зовет «стюцким»¹¹, выражает самодовольство и достоинство. На природу глядит он с сознанием своего превосходства над ней, и во взгляде у него что-то хозяйское, повелительное и даже презрительное, точно, сидя у себя там в оранжерее или копаясь в саду, он узнал про растительное царство что-то такое, чего не знает никто.

Было бы напрасно толковать ему, что природа величественна, грозна и полна чудесных чар, перед которыми должен склонить свою шею гордый человек. Ему кажется, что он знает всё, все тайны, чары и чудеса, а прекрасная весна для него такая же рабыня, как та узкогрудая, исхудалая женщина, которая сидит в пристройке около оранжереи и кормит постными щами его детей.

А охотник Иван Захаров? Этот, в истрепанной драповой куртке и в калошах на босу ногу, сидит около конюшни на опрокинутом бочонке и делает из старых пробок пыжи. Он собирается на тягу. В его воображении рисуется путь, по которому он пойдет, со всеми тропинками, зазорами, ручьями; закрыв глаза, он видит длинный, прямой ряд высоких стройных деревьев, под которыми он будет стоять с ружьем, дрожа от вечерней прохлады, от сладкого волнения и напрягая свой тонкий слух; ему чудятся звуки, которые издает хоркающий вальдшнеп; он уже слышит, как в монастыре, по соседству, после всенощной, пока он стоит на тяге, трезвонят во все колокола... Ему хорошо, он безмерно, бестолково счастлив.

Но теперь поглядите на Макара Денисыча, молодого человека, который служит у генерала Стремоухова не то писарем, не то младшим управляющим. Он получает вдвое больше, чем садовник, носит белые манишки, курит двухрублевый табак, всегда сыт и одет и всегда при встрече с генералом имеет удовольствие пожимать белую пухлую руку с крупным бриллиантовым перстнем, но, тем не менее, все-таки как он несчастлив! Вечно он с книжками, выписывает он на двадцать пять рублей журналов, и пишет, пишет... Пишет он каждый вечер, каждое

¹¹ *Стюцкий* – человек подлый, дрянной, презренный (устаревшее). Ф. М. Достоевский, писавший о значении этого слова в «Дневнике писателя за 1877 год» (ноябрь, гл. I), считал, что оно «войдет, может быть, и в литературу».

после обеда, когда все спят, и всё написанное прячет в свой большой сундук. В этом сундуке на самом дне лежат аккуратно сложенные брюки и жилеты; на них еще не распечатанная пачка табаку, десяток коробочек из-под пилюль, пунцовый шарфик, кусок глицеринового мыла в желтой обертке и много всякого другого добра, а по краям сундука робко жмутся стопки испи-санной бумаги, и тут же два-три нумера «Нашей губернии», где напечатаны рассказы и кор-респонденции Макара Денисыча. Весь уезд считает его литератором, поэтом, все видят в нем что-то особенное, не любят его, говорят, что он не так говорит, не так ходит, не так курит, и сам он однажды на мировом съезде, куда был вызван в качестве свидетеля, проговорился некстати, что занимается литературой, причем покраснел так, как будто украл курицу.

Вот он, в синем пальто, в плюшевой шапочке и с тросточкой в руке, тихо идет по аллее... Сделает шагов пять, остановится и уставит глаза в небо или на старого грача, который сидит на ели.

Садовник стоит подбоченясь, на лице у охотника написана строгость, а Макар Денисыч согнулся, робко кашляет и кисло смотрит, точно весна давит и душит его своими испарени-ями, своей красотой!.. Душа его полна робости. Вместо восторгов, радости и надежд, весна порождает в нем только какие-то смутные желания, которые тревожат его, и вот он ходит и сам не разберет, что ему нужно. В самом деле, что ему нужно?

– А, здравствуйте, Макар Денисыч! – слышит он вдруг голос генерала Стремоухова. – Что, еще не приехали с почты?

– Нет еще, ваше превосходительство, – отвечает Макар Денисыч, оглядывая коляску, в которой сидит здоровый, веселый генерал со своей маленькой дочкой.

– Чудесная погода! Совсем весна! – говорит генерал. – А вы гуляете? Чай, вдохновляе-тесь?

А в глазах у него написано:

«Бездарность! Посредственность!»

– Ах, батенька! – говорит генерал, берясь за вожжи. – Какую прекрасную штучку я прочел сегодня за кофе! Пустячок, в две странички, но какая прелесть! Жаль, что вы не владеете французским языком, я дал бы вам почитать...

Генерал наскоро, пятое через десятое, рассказывает содержание прочитанного им рас-сказа, а Макар Денисыч слушает и чувствует неловкость, словно его вина в том, что он не французский писатель, который пишет маленькие штучки.

«Не понимаю, что он там нашел хорошего? – думает он, глядя вслед исчезающей коляске. – Содержание пошлое, избитое... Мои рассказы гораздо содержательнее».

И Макара начинает сосать червь. Авторское самолюбие – это боль, это катар души; кто болеет им, тому уже не слышно пения птиц, не видно блеска солнца, не видно весны... Нужно лишь чуть-чуть прикоснуться к этой болячке, чтобы сжался болезненно весь организм. Отрав-ленный Макар идет дальше и через садовую калитку выходит на грязную дорогу. Тут, подпры-гивая всем телом на высокой бричке, спешит куда-то господин Бубенцов.

– А, господину писателю! – кричит он. – Наше вам!

Будь Макар Денисыч только писарем или младшим управляющим, то никто бы не посмел говорить с ним таким снисходительным, небрежным тоном, но он «писатель», он бездарность, посредственность!

Такие, как господин Бубенцов, ничего не понимают в искусстве и мало интересуются им, но зато, когда им приходится встречаться с бездарностями и посредственностями, то они неумолимы, безжалостны. Они готовы простить кого угодно, но только не Макара, этого неудачника-чудака, у которого в сундуке лежат рукописи. Садовник сломал старый фикус и сгноил много дорогих растений, генерал ничего не делает и проедает чужое, господин Бубен-цов, когда был мировым судьей, разбирает дела только раз в месяц и, разбирая, заикался, путал законы и нес чепуху, но всё это прощается, не замечается; но не заметить и пройти молчанием

мимо бездарного Макара, пишущего неважные стихи и рассказы, – никак нельзя, не сказав чего-нибудь обидного. Что свояченица генерала бьет горничных по щекам и бранится за картами, как прачка, что попадья никогда не платит проигрыша, что помещик Флюгин украл у помещика Сивобразова собаку, никому до этого дела нет, но то, что недавно из «Нашей губернии» возвратили Макару плохой рассказ, известно всему уезду и вызывает насмешки, длинные разговоры, негодование, и Макара Денисыча уже называют Макаркою.

Если кто не так пишет, то не стараются объяснить, почему это «не так», а просто говорят: – Опять этот сукин сын чепуху написал!

Наслаждаться весной мешает Макару мысль, что его не понимают, не хотят и не могут понять. Ему почему-то кажется, что если бы его поняли, то всё было бы прекрасно. Но как могут понять, талантлив он или нет, если во всем уезде никто ничего не читает или читает так, что лучше бы совсем не читать. Как втолковать генералу Стремоухову, что та французская штучка ничтожна, плоска, банальна, избита, как втолковать ему, если он, кроме таких плоских штучек, никогда не читал ничего другого?

А как раздражают Макара женщины!

– Ах, Макар Денисыч! – говорят они ему обыкновенно. – Как жаль, что вас сегодня не было на базаре! Если б вы видели, как смешно дрались два мужика, вы наверно бы описали!

Всё это, конечно, пустяки, и философ не обратил бы внимания, пренебрег бы, но Макар чувствует себя, как на угольях. Душа его полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, какую испытывают только очень одинокие люди и большие грешники. Никогда, ни разу в жизни, он не стоял так подбоченясь, как стоит садовник. Изредка разве, этак раз в пять лет, встретившись где-нибудь в лесу, или на дороге, или в вагоне с таким же неудачником-чудаком, как он сам, и заглянув ему в глаза, он вдруг оживет на минутку, оживет и тот. Они долго говорят, спорят, восхищаются, восторгаются, хохочут, так что, со стороны глядя, их обоих можно принять за безумных.

Но обыкновенно и эти редкие минуты не обходятся без отравы. Словно на смех, Макар и неудачник, с которым он встретился, отрицают друг в друге таланты, не признают друг друга, завидуют, ненавидят, раздражаются, расходятся врагами. Так и изнашивается, тает их молодость без радостей, без любви и дружбы, без душевного покоя и без всего того, что так любит описывать по вечерам в минуты вдохновения угрюмый Макар.

А с молодостью проходит и весна.

Много бумаги

(Архивное изыскание)

«Имею честь покорнейше заявить 8-го сего ноября замечена болезнь на двух малчиках, которые ребята пришедши объяснили что в школе и протчии ребята хворают глоткой жар и по всему телу сып, ходят они в Жаровскую земскую школу. *Ноября 19-го* дня 1885 г. Староста Ефим Кирилов».

«М. В. Д. N—ская Уездная Земская управа. Земскому Врачу Г. Радушному. Вследствие заявления старосты села Курносова от 19-го ноября, предлагаю Вам, м. г., отправиться в Курносово и озаботиться по правилам науки о скорейшем прекращении эпидемии болезни, по всем признакам, скарлатины. Из названного заявления явствует, что заболевания начались в Жаровской школе, на каковую и прошу обратить внимание. *4-го декабря* 1885 г. За председателя: С. Паркин».

«Г. Приставу 2-го стана N—ского уезда. Вследствие отношения уездной земской управы за № 102 от 4-го декабря, которое при сем прилагаю, прошу Вас, м. г., сделать распоряжение о закрытии школы в селе Жарове впредь до прекращения скарлатинной эпидемии. *13-го декабря* 1885 г. Земский врач Радушный».

«М. В. Д. Пристава 2-го стана N—ского уезда. № 1011. В Жаровское земское училище. Земский Врач Г. Радушный 13-го декабря сего года сообщил мне, что в селе Жарове усмотрена им на детях эпидемия болезни скарлатины (или, как называют в народе, дифтерита). Во избежание проявления более грустных результатов от упомянутой болезни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочиваясь необходимостью принять установленные законом меры к предупреждению и пресечению случаев развивающегося заболевания, я с своей стороны поставлен в необходимость покорнейше просить: не признаете ли вы возможным распустить учащихся в Жаровской земской школе до время совершенного прекращения свирепствующей болезни и о последующем уведомить меня для дальнейших распоряжений. *Января 2-го* дня 1886 года. Пристав Подпрунин».

«В дирекцию народных училищ X—ской губернии. Г. Инспектору народных училищ. Учителя Жаровского училища Фортянского заявление. Честь имею довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что вследствие отношения г. Пристава 2-го стана за № 1011 от 2-го января, появилась в селе Жарове эпидемия скарлатины, о чем имею честь Вас известить. *12-го января* 1886 г. Учитель Фортянский».

«Г. Приставу 2-го стана N—ского уезда. В виду того, что скарлатинная эпидемия прекратилась уже месяц тому назад, к открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется, о чем я уже два раза писал в управу, а теперь Вам пишу и покорнейше прошу обращаться впредь с вашими бумагами к уездному врачу, с меня же достаточно и одной земской управы. Я занят с утра до вечера и у меня нет времени отвечать на все Ваши канцелярские измышления. *26-го января*. Земский врач Радушный».

«М. В. Д. Его Высокоблагородию Господину N—скому Исправнику Пристава 2-го стана. Рапорт. Имею честь препроводить при сем отношение г. Земского Врача Радушного от 26 января за № 31 на предмет рассмотрения Вашего Высокоблагородия о предании суду лекаря Радушного за неуместные и в высшей степени оскорбительные выражения, употребленные им в официально-служебной бумаге, как-то: „канцелярские измышления“. *8-го февраля* дня 1886 г. Пристав Подпрунин».

Из частного письма г. исправника к приставу 2-го стана: «Алексей Мануилович, возвращаю Вам Ваш рапорт. Прекратите, пожалуйста, Ваши постоянные неудовольствия с доктором Радушным. Такой антагонизм по меньшей мере неудобен в положении полицейского чиновника, обязанного блюсти в сношениях прежде всего такт и умеренность. Что касается бумаги Радушного, то не нахожу в ней ничего особенного. О скарлатине в с. Жарове я уже слышал и в ближайшем училищном совете доложу о неправильных действиях учителя Фортянского, которого считаю главным виновником всей этой неприятной переписки».

«М. Н. П. Инспектор народных училищ X—ской губернии, № 810. Г. Учителю Жаровского училища. На представление Ваше от 12-го января сего года, поставляю Вас в известность, что уроки во вверенном Вам училище должны быть немедленно прекращены и ученики распущены в отвращение дальнейшего распространения скарлатины. *Февраля 22-го* дня 1886 г. Инспектор народных училищ И. Жилеткин».

По прочтении всех документов, относящихся к эпидемии в селе Жарове (а их, кроме здесь напечатанных, имеется еще двадцать восемь), читателю станет понятным многое из следующего описания, помещенного в 36 № X—ских Губернских ведомостей:

«...покончив с чрезмерною детскою смертностью, перейдем теперь к более веселому и отрадному. Вчера, в церкви св. Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабриканта М. с потомственным почетным гражданином К. Венчание совершал протоиерей о. Клиопа Гвоздев в сослужении с прочим соборным духовенством. Пел хор Красноперова. Оба молодые сияли красотой и молодостью. Говорят, что г. К. получает в приданое *около миллиона* и, кроме того, еще имение Благодушное с конским заводом и с оранжереями, в коих произрастают ананасы и цветущие пальмы, переносящие ваше воображение далеко на юг. Молодые тотчас же после венца уехали за границу».

Как приятно быть бумажным фабрикантом!

Кошмар

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек, лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым.

Часов через пять отец Яков явился.

– Очень рад познакомиться! – встретил его в передней Кунин. – Уж год, как живу и служу здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но, однако... какой вы молодой! – удивился Кунин. – Сколько вам лет?

– Двадцать восемь-с... – проговорил отец Яков, слабо пожимая протянутую руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!» – подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда не годных бород, который у семинаристов почему-то называется «скоктанием»: реденькая, сильно просвечивающая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать... Вся эта скудная растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду, был прерван на половине дела. На нем была ряска, цвета жидкого цикорного кофе, с большими латками на обоих локтях.

«Странный субъект... – подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганные грязью. – Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться».

– Садитесь, батюшка, – начал он более развязно, чем приветливо, придвигая к столу кресло. – Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков кашлянул в кулак, неловко опустил на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

– Я, батюшка, пригласил вас по делу... – начал Кунин, откидываясь на спинку кресла. – На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном вашем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от председателя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Синькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.

– Конечно, и Егору Дмитриевичу и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непремленного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я всё сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

– Когда будут деньги... – ответил отец Яков.

– Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

– Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно, по крайней мере, рублей двести...

– М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы... – вздохнул Кунин. – В поездке я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова, ища на нем одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которых отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании.

«Малый, как видно, не из очень умных... – думал Кунин. – Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю и сухарницу с крендельками. Он взял свой стакан и тотчас же принялся пить.

– Не написать ли нам преосвященному? – продолжал соображать вслух Кунин. – Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего не известно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив всё до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение удовольствия сползло с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сухарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-иерейски! – подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. – Что это, поповская жадность или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! – думал он. – Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница... Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: „Благослови, владыко!“ Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прячущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут нужны люди, которые...»

И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники...

«Будь, например, я попом... Образованный и любящий свое дело поп много может сделать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие чудные, зажигательные проповеди он может говорить!»

Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя он сидел за столом и быстро записывал.

«Дам тому рыжему, пусть прочтет в церкви...» – думал он.

В ближайшее воскресенье, утром, Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и кстати познакомиться с церковью, прихожанином которой он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласты залежавшегося снега. Снег на прощанье с землей переливал такими алмазами, что больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится к земле и, прежде чем стать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет...

Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшийся дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без дьякона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле.

Церковь была не полна. Кунина, при взгляде на прихожан, поразило на первых порах одно странное обстоятельство: он увидел только стариков и детей... Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и взглядевшись попристальней в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения.

Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки.

«Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться... – думал Кунин. – Как в Риме у св. Петра¹² поражает величие, так здесь трогают эти смирение и простота».

Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске; кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто... Старый дьячок, очевидно больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дьячок поет свое, или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый... В довершение неблагодария, дьячку подтягивал очень маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клироса. Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь.

– Жалуются на падение в народе религиозного чувства... – вздохнул он. – Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!

Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках да часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом – табурет, в третьем – стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом – стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом – расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет.

¹² ...в Риме у св. Петра... – В соборе святого Петра в Риме.

– Вы это первый раз в нашем храме? – спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик.

– Да, в первый. Вот что, батюшка... Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня вся душа высохла.

Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье...

«Должно быть, с попадшей... – подумал Кунин. – Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадья...»

Немного погодя отец Яков вышел из-за перегородки красный, потный и, силясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана.

– Сейчас поставят самовар, – сказал он, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! – ужаснулся про себя Кунин. – Изволь теперь ждать!»

– Я вам привез, – сказал он, – черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая... Может быть, вы найдете что-нибудь добавить...

– Хорошо-с.

Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался.

– Погода чудесная-с... – сказал он.

– Да. Между прочим, интересную я вещь прочел вчера... Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству.¹³ Это характерно.

Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения.

– Это ничего, – говорил он, – лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые, по своему развитию и нравственным качествам, не годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник.

Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по видимому, не слушал гостя.

– Яша, поди-ка сюда! – послышался женский голос из-за перегородки.

Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье.

Кунина защемила тоска по чаю.

«Нет, не дождусь я тут чаю! – подумал он, глядя на часы. – Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».

Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним.

«Даром только утро пропало! – злился он дорогой. – Бревно! Пень! Школой он так же интересуется, как я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет! Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе!»

¹³ *Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству.* – В рассказе отражен действительный факт, связанный с намерением правительства передать народное образование в ведение местного духовенства. Начало этому было положено «Правилами о церковноприходских школах» от 13 июня 1884 г. В осуществление «Правил...» Вольское земство Саратовской губернии одним из первых в России в 1885 г. передало все свои начальные школы в руки духовенства. Вместо 14 тысяч рублей, которые до этого тратились на народное образование в уезде, было решено ежегодно давать ссуду только в 5 тысяч рублей. Остальные же средства должны были давать местные приходы, отдельные учреждения, частные лица и т. п. («Саратовский дневник», 1886, № 1, 1 января, и № 3, 4 января). Проект замены земских школ церковноприходскими был с одобрением встречен «Новым временем» (1886, № 3536, 1 января – «Законодательная деятельность в 1885 г.», редакционная статья). Об этой мрачной стороне земской деятельности, нанесшей серьезный ущерб народному образованию (опыт Вольского, как и других земств, оказался неудачным), и отзывается с похвалой Кунин.

Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной, помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию...

Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренно, по-сыновьи, изложил свое мнение о синьковском священнике. «Он молод, — написал он, — недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело.

В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков.

«Как, однако, ему мои крендельки понравились!» — подумал Кунин.

В воскресенье, перед вечером, пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера.

— Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес... — начал отец Яков.

— Благодарю.

Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же он молчит? — злился Кунин. — Расселся тут! Мне ведь некогда возиться с ним!»

Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происшедшую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

— Извините, батюшка, мне нужно ехать... — сказал он.

Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость.

— Прошу, батюшка, в другой раз... — сказал он, — а на прощанье у меня к вам будет просьба... Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди... Отдаю на ваше рассмотрение... Коли сгодятся, прочтите.

— Хорошо-с... — сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина. — Я возьму-с...

Постояв немного, помявшись и всё еще запахивая ряску, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову.

— Павел Михайлович, — сказал он, видимо стараясь говорить громко и явственно.

— Что прикажете?

— Я слышал, что вы изволили тово... рассчитать своего писаря и... и ищите теперь нового...

— Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?

— Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мне?

– Да разве вы бросаете священство? – изумился Кунин.

– Нет, нет, – быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнея и дрожа всем телом. – Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увеличить... Не нужно, не беспокойтесь!

– Гм... дивиденды... Но ведь я плачу писарю только двадцать рублей в месяц!

– Господи, да я и десять взял бы! – прошептал отец Яков, оглядываясь. – И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги деваает? Я и сам это чувствую, что жадный... и казню себя, осуждаю... людям в глаза глядеть совестно... Вам, Павел Михайлович, я по совести... привожу истинного бога в свидетели...

Отец Яков перевел дух и продолжал:

– Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... всё забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю... Но я вам всё по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои...

– Ах, верю, верю! Ну, к чему всё это? – замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.

– Потом-с, я еще в консисторию за место свое не всё еще выплатил. За место с меня двести рублей положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по три рубля в месяц!

– Какому отцу Авраамию?

– Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу.

Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол.

– Боже мой! Боже мой! – забормотал он, то поднимая руки, то опуская. – Спаси нас, господи, и помилуй! И зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты малOVER и сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию! Спаси, царица небесная.

– Успокойтесь, батюшка! – сказал Кунин.

– Замучил голод, Павел Михайлович! – продолжал отец Яков. – Извините великодушно, но нет уже сил моих... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу! Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подыметься просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совестно!

Отец Яков махнул рукой и нервно зачесал обеими руками голову.

– Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели! Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! Ни соринки его не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала! Стыжусь своей одежды, вот этих латок... риз своих стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой.

– Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но ведь у меня, господи, еще попадья есть! Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням... Она у родителей на фортепьянах играла... Молодая, еще и двадцати лет нет... Хочется небось и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, боже мой! Только и утехи у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделечек...

Отец Яков опять обеими руками зачесал голову.

– И выходит у нас не любовь, а жалость... Не могу видеть ее без сострадания! И что оно такое, господи, делается на свете. Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди... И когда всему этому конец будет!

– Полноте, батюшка! – почти крикнул Кунин, пугаясь его тона. – Зачем так мрачно смотреть на жизнь?

– Извините великодушно, Павел Михайлович... – забормотал отец Яков, как пьяный. – Извините, всё это... пустое, и вы не обращайтесь внимания... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отец Яков оглянулся и зашептал:

– Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково; гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает... Подхожу ближе и глазам своим не верю... Ужас! Сидит жена доктора, Ивана Сергеича, и белье полощет... Докторша, в институте кончила! Значит, чтоб люди не видели, норовила пораньше встать и за версту от деревни уйти... Неодолимая гордость! Как увидала, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся... Я оторопел, испугался, подбежал к ней, хочу помочь ей, а она белье от меня прячет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел...

– Всё это как-то даже невероятно... – сказал Кунин, садясь и почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова.

– Именно, невероятно! Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полоскали! Ни в каких странах этого нет! Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сделать? Что? Сам же еще норовлю у ее мужа даром лечиться! Верно вы изволили определить, что всё это невероятно! Глазам не верится! Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадью, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то, верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока пономарь не окликнет... Ужас!

Отец Яков опять заходил.

– Господи Иисусе! – замахал он руками. – Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вот про школу мне говорите, а я, как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю... Даже перед престолом... Впрочем... что же это я? – спохватился отец Яков. – Вам уезжать нужно. Простите-с, я ведь это так... извините...

Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в свой кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понуриив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге.

«А его лошади не видно», – подумал Кунин.

Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся: до Синькова было семь-восемь верст, а грязь на дороге стояла невылазная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика.

Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос... Он взглянул на стол... К счастью, отец Яков забыл второпях взять с собой его проповеди... Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол.

– И я не знал! – простонал он, падая на софу. – Я, который уже более года служу здесь непременно членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета! Слепая кукла, фат! Скорей к ним на помощь! Скорей!

Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум.

– Получу 20-го числа жалованья 200 рублей... Под благовидным предлогом суну и ему и докторше... Его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею... Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу...

Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих двухсот рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо... Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним молокососом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по десяти рублей в день, подносил из тщеславия актрисам подарки. Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки!

«Отец Авраамий проедает в месяц только три рубля, – думал Кунин. – За рубль попадья может себе сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой...

Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не рассуждающих людей.

Грач

Грачи прилетели и толпами уже закружились над русской пашней. Я выбрал самого солидного из них и начал с ним разговаривать. К сожалению, мне попался грач – резонер и моралист, а потому беседа вышла скучная. Вот о чем мы беседовали:

Я. – Говорят, что вы, грачи, живете очень долго. Вас, да еще шук, естествоиспытатели ставят образцом необыкновенного долголетия. Тебе сколько лет?

Грач. – Мне 376 лет.

Я. – Ого! Однако! Нечего сказать, пожил! На твоём месте, старче, я чёрт знает сколько статей накатал бы в «Русскую старину» и в «Исторический вестник»! Проживи я 376 лет, то воображаю, сколько бы написал я за это время рассказов, сцен, мелочишек! Сколько бы я перебрал гонорара! Что же ты, грач, сделал за всё это время?

Грач. – Ничего, г. человек! Я только пил, ел, спал и размножился...

Я. – Стыдись! Мне и стыдно и обидно за тебя, глупая птица! Прожил ты на свете 376 лет, а так же глуп, как и 300 лет тому назад! Прогресса ни на грош!

Грач. – Ум дается, г. человек, не многолетием, а воспитанием и образованием. Возьмите вы Китай... Прожил он гораздо больше меня, а между тем остался таким же балбесом, каким был и 1000 лет тому назад.

Я (продолжая изумляться). – 376 лет! Ведь это что же такое! Целая вечность! За это время я успел бы на всех факультетах побывать, успел бы 20 раз жениться, перепробовал бы все карьеры и должности, дослужился бы до чёрт знает какого чина и наверное бы умер Ротшильдом! Ведь ты пойми, дура: один рубль, положенный в банк по 5 сложных процентов, обращается: через 283 года в миллион! Высчитай-ка! Стало быть, если бы ты 283 года тому назад положил в банк один рубль, то у тебя теперь был бы миллион! Ах, ты, дурак, дурак! И тебе не обидно, не стыдно, что ты так глуп?

Грач. – Нисколько... Мы глупы, но зато можем утешаться, что за 400 лет своей жизни мы делаем глупостей гораздо меньше, чем человек в свои 40... Да-с, г. человек! Я живу 376 лет, но ни разу не видел, чтобы грачи воевали между собой и убивали друг друга, а вы не помните года, в который не было бы войны... Мы не обираем друг друга, не открываем ссудных касс и пансионатов без древних языков, не клеветаем, не шантажируем, не пишем плохих романов и стихов, не издаем ругательных газет... Я прожил 376 лет и не видел, чтобы наши самки обманывали и обижали своих мужей, – а у вас, г. человек? Между нами нет лакеев, подхалимов, подлипал, хриstopродавцев...

Но тут моего собеседника окликнули его товарищи, и он, не dokonчив своей тирады, полетел через пашню.

На реке

(Весенние картинки)

– Лед тронулся! – слышны крики среди ясного, весеннего дня. – Ребята, лед идет!

Лед трогается аккуратно каждую весну, но, тем не менее, ледоход всегда составляет событие и злобу дня. Заслышав крики, вы, если живете в городе, бежите к мосту, причем на лице у вас такое серьезное выражение, как будто бы на мосту совершается убийство или дневной грабеж. Такое же выражение и у мальчишек, которые бегут мимо вас, у извозчиков, у торговков. На мосту уже собралась публика. Тут гимназисты с ранцами, барыни в ватерпруфах, двести рясы, черномазый мальчишка, держащий за уши только что сшитые сапоги, поддевки всех сортов, солдатики. Все, свесившись через перила моста, молчат, не двигаются и вопросительно глядят вниз на реку. Молчание гробовое, лишь городской рассказывает какому-то господину в мохнатом пальто и с клапаном на спине о том, насколько прибыла вода, да изредка проезжают с шумом извозчики. Городской говорит вполголоса. Когда речь идет об аршинах, лицо делается серьезным, вытянутым, почти испуганным, когда же он говорит о вершках, то на лице его появляется выражение жалости и нежности, как будто вершки его дети.

Свесившись через перила, вы тоже глядите на реку и – какое разочарование! – вы ожидали треска и грохота, но ничего не слышите, кроме глухого, однозвучного шума, похожего на очень отдаленный гром. Вместо чудовищной ломки, столкновений и дружного натиска, вы видите безмятежно лежащие, неподвижные груды изломанного льда, наполняющего всю реку от берега до берега. Поверхность реки изрыта и взбудоражена, точно по ней прошелся великан-пахарь и тронул ее своим громадным плугом. Воды не видно ни капли, а только лед, лед и лед. Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас кружится голова и кажется, что мост вместе с вами и с публикой куда-то уходит. Тяжелый мост мчится вдоль реки вместе с берегами и рассекает своими быками груды льда. Вот одна большая льдина, упершись о бык, долго не пускает мост бежать от нее, но вдруг, как живая, начинает ползти по быку вверх, прямо к вашему лицу, словно хочет проститься с вами, но, не выдержав своей тяжести, ломается на два куска и бессильно падает. Вид у льдин грустный, унылый. Они как будто сознают, что их гонят из родных мест куда-то далеко, в страшную Волгу, где, насмотревшись ужасов, они умрут, обратятся в ничто.

Скоро холмы начинают редеть, и между льдинами показывается темная, стремительно бегущая вода. Теперь обман исчезает и вы начинаете видеть, что двигается не мост, а река. К вечеру река уже почти совсем чиста от льда; изредка попадаются на ней отставшие льдины, но их так мало, что они не мешают фонарям глядеться в воду, как в зеркало.

– Это еще не ледоход! – говорят на мосту. – А вот будет ледоход, когда лед с верховьев пойдет!.. Нынче в обед приехал один из N—ского уезда. Сказывает, что там уже тронулся лед... Стало быть, ожидать его здесь нужно завтра.

Действительно, на другой день пасмурно, дует холодом и сыростью. Такая резкая перемена погоды показывает, что где-то на большом пространстве идет лед... На мосту стоит публика и опять глядит на реку. Вода стоит высоко, но поверхность еще чиста и гладка. Зрители нетерпеливо зевают и пожимаются от холода. Но вот показывается на поверхности реки большая ледяная глыба. За ней, как за козлом в стаде, в почтительном отдалении тянется несколько глыб поменьше... Слышится удар глыбы о бык моста. Она разбилась, и части ее в смятении, кружась и толкаясь, бегут под мост... На повороте показывается новая глыба, за ней другая,

третья... и скоро воздух наполняется глухим шумом, который слышался вчера. Вы видите уже не тутошний лед, а чужой, с далеких верховьев.

Скоро и этот лед пропадает, но с его уходом еще не оканчивается весеннее оживление реки. Тотчас же после ледохода начинают показываться плоты.

Плоты следует наблюдать не в городе, а где-нибудь подальше, хотя бы у тех таинственных верховьев, откуда шел последний лед.

Вот по речонке Жиже, лавируя и извиваясь змеей, несется длинный плот. Летом Жижа представляет собой лужицу, которую вы не увидите из-за густого ивняка и перейдете вброд где хотите, теперь же она неузнаваема. Глядите на нее и диву даетесь: откуда могла взяться такая прыть? Она надувается, топорщится и грозит затопить всю землю. С большим плотом она обращается, как с маленькой щепкой. Этот плот запоздал и принадлежит к числу последних, которым грозит возможность застрять на полдороге. Купец Макитров вчера уже пустил шесть плотов; на этом следовало бы и остановиться, но жадность одолела, и он сегодня пустил еще седьмой, хотя его и предупредили, что вода пошла на убыль.

На плоту копошится человек двадцать мужиков и баб. Настоящий мужик, который сыт и одет, не пойдет в сплавщики, а потому вы видите здесь одну только сплошную голь. Народишко всё малорослый, сутуловатый, угрюмого вида, словно огрызенный. Все в лаптях и в такой одежонке, что, кажется, если взять мужика за плечи и хорошо потрясти его, то висящие на нем лохмотья посыплутся на землю. У каждого из них свое лицо: есть рыжие, как глина, и смуглые, как арабы; у одного на лице волос едва пробивается, у другого всё лицо космато, как у зверя; у каждого своя рваная шапка, свои лохмотья, свой голос, но, тем не менее, все они непривычному глазу кажутся одинаковыми, так что долго нужно побыть между ними, чтобы научиться различать, кто из них Митрий, кто Иван, кто Кузьма. Такое разительное сходство придает им одной общей печатью, которая лежит на всех бледных, угрюмых лицах, на всех лохмотьях и рваных шапках, — невылазной бедностью.

Работа их непрерывна. Что ни шаг, то Жижа делает поворот, а потому то и дело приходится перебегать с края на край и работать шестами, чтобы несущийся плот не налетел на берег или не наскочил на утес, о который он мог бы разорваться... Все красны, вспотели и тяжело дышат... Ни один не сидит, хотя среди плота и раскидана солома для сиденья. Бабы, с заболтанными, мокрыми подолами, тощие и оборванные, делают то же, что и мужчины...

Оба берега залиты ярким светом полуденного солнца, и перед глазами сплавщиков мелькают картины одна другой краше. С быстротою птицы проносятся перед ними леса, пашни, деревни, барские усадьбы... Вот они видят перед собой на высоком крутом берегу белую церковь с зеленым куполом. Прошла минута, и церкви уж нет, а видна только равнина, далеко залитая сердитой Жижей; за равниной тянется черная пашня, над которой пестрят не то грачи, не то галки... Вот высокий и длинный, как грабли, мужик гонит по берегу тощую корову с одним рогом... Далее барская усадьба: на балкончике стоит барыня с зонтиком и спешит указать девочке на плот; какой-то молодой человек в венгерке и высоких сапогах заглядывает в вершу... Потом опять пашня, лес, деревня... Если теперь оглянуться назад, то белая церковь едва белеет на горизонте, а мужика с коровой и след простыл... Но не думайте, что плот далеко ушел. Проходит еще немного времени, и сплавщики видят на горизонте что-то белое... Начинают вглядываться и — что за чудеса? — они несутся к той церкви, которую только что оставили назади... Чем ближе подходят к ней, тем больше убеждаются, что это она, та самая, на крутом берегу и с зеленым куполом... Вот уж видны ее окна, крест на верхушке, труба на крыше... Проехать еще минутку, и сплавщики будут у самой церкви, но плот круто поворачивает, и церковь опять остается назади...

Улучив минутку, три-четыре сплавщика сходятся на середине плота, глядят друг на друга и тяжело дышат. Это они отдыхают. Между ними вы увидите единственного человека в сапо-

гах, сапогах ужасных, кривых, рыжих, но всё-таки сапогах. Храм оставленный – всё храм!¹⁴ В сапоги засунуты узкие суконные брючки, до того никуда не годные, что и критиковать их даже грех. Человек в сапогах одет в рваный полушубок, сквозь дыры которого видна жилетка. На большой голове его торчит бросовая гимназическая фуражка с поломанным козырьком и донельзя грязными кантами. Лицо его, испитое и обрюзглое, не похоже на лица остальных сплавщиков... Одним словом, это личность, без которой теперь на Руси не обходится ни одна артель, ни один кабак, ни один сброд нищих и убогих... Эта личность страшно пришиблена судьбой, проникнута насквозь сознанием своей низменности, а потому всячески старается скрыть свое «благородство», в котором ее подозревают... В рваном деревенском полушубке ей гораздо легче дышится, чем в потертом пальто или жилетке, которую вы, расщедрившись, вздумаете ей пожертвовать. Расспрашивать, кто она, откуда, кем была и о чем теперь помышляет, жалко да и бесполезно. Спросите только, и она наврет вам, что она была и в офицерах, и в актерах, и в заточении...

На плоту зовут эту личность Диомидом. В сплавщики Диомид попал не столько из желания заработать три-четыре рубля, сколько обрадовавшись случаю проехать задаром в город и избежать таким образом пешего хождения... Новизна дела занимает его, и он всячески старается не уступать мужикам в трудолюбии. Он так же, как и они, бегаёт с края на край, суется, тычет шестом, потеет, еле дышит, но непривычка сказывается в каждом его движении. Не понимает он дела, да кроме того слабосилен и скоро утомляется... Как только увидит, что двое-трое остановились отдохнуть, он непременно пристанет к ним.

Отдыхающие глядят друг на друга и начинают разговор. Тема для разговоров на плотках всегда одна и та же:

– Нонешние времена, это которое... сушая беда! – лепечет козлиная бородка в шапке с ушами. – Годов пять назад дешевле восьми рублей никакой сплавщик не брал. За восемь, сделай милость, поплыву, а дешевле не желаю... А нынче еле четыре дают, а? Сущее наказание! И отчего оно так стало, господь его знает!

– Народу много расплодилось... – хрипит борода лопатой. – Некуда его девать, народ-то этот. Ты за четыре не пойдешь, так другой за три пойдет. Прежде, бывало, ты бабу на плоту и за деньги не увидишь, а теперя, вишь, сколько их насажали! А баба глупа, она и за рупь пойдет...

– Четыре рубля... – бормочет козлиная бородка, задумчиво глядя на несущийся берег. – Четыре... История!

Диомид поехал не из-за денег, для него всё равно, что четыре, что восемь рублей, но, чтобы ввязаться в разговор, он считает нужным поддакнуть.

– М-да... – говорит он. – Деньги паршивые. А всё оттого, братцы, что купец разжирел. Бойтся с деньгами расстаться...

Собеседники не отвечают Диомиду. Они глядят вперед, куда летит плот, и видят белеющее пятно. Плот опять несет к той же белой церкви. Божий храм ласково мигает им солнцем, которое отражается в его кресте и в лоснящемся зеленом куполе, и словно обещает не упускать их из виду.

– Одначе какие выкрутасы тут река делает! – говорит Диомид. – Пльвем, пльвем, и всё на одном месте вертимся...

– Ежели прямо в город ехать, то верст пятьдесят будет, а ежели рекой, то и шестьсот наберется. Эх, дал бы только бог, вода не сбывала, завтра ввечеру на месте будем...

День проходит благополучно, без приключений, но к вечеру плот насканивает на беду. Сплавщики вдруг сквозь начинающиеся сумерки усматривают на реке препятствие: у одного берега стоит крепко привязанный паром, а от парома к другому берегу тянутся жидкие, едва

¹⁴ Храм оставленный – всё храм! – Из стихотворения Лермонтова «Расстались мы; но твой портрет...» (1837).

только сколоченные лавы. Как проехать? На обоих берегах сильное движение. Несколько человек бегут навстречу плоту, машут руками и кричат:

– Стой! Стой! Черти собачие!

Оторопевшие сплавщики останавливают плот.

– Не смейте плыть дальше! – кричит какой-то толстяк с красным лицом и в длинном драповом пальто. – Я вас так пугну к чёрту с вашими дровами, что вы живы не останетесь! У меня уж и так два раза лавы ломали, а вам не позволю!

Сплавщики переглядываются, мнутя и снимают шапки.

– Ваше степенство, как же нам быть-то? – спрашивает один.

– Как знаете, а ломать лавы не позволю. У меня народ то и дело на фабрику ходит и без лав никак нельзя.

– Ваше благородие, уж вы будьте благонадежны! – галдят сплавщики плачущими головами. – Сделайте милость! Мы ваши лавы соберем и к месту приставим, всё как следует... по совести! Заставьте вечно бога молить!

– Ну да, знаю вас! Не смейте!

Красная физиономия грозит рукой и уходит. Сплавщики вешают носы.

– Как он смеет? – кипятится Диомид. – Что за самовольство? Не имеет он права до положенного срока лавы ставить! Ребята, вы наплюйте! Нечего на болвана глядеть!

Долго кипятится и ораторствует Диомид, до самой ночи сплавщики ходят по берегу без шапок и кланяются, но ничто не помогает... Приходится мириться с судьбой.

Всю ночь около лав горит огонек. Сплавщики, измокшие и продрогшие, молча и не давая себе ни минуты отдыха, перетаскивают через лавы свои бревна и увязывают их в новый плот. Над этой египетской работой копошатся они, как муравьи, до самого утра.

А утром опять плыть!

Гриша

Гриша, маленький, пухлый мальчик, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко, а тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки.

Вся его неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение.

До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом – нянькин сундук, в третьем – стул, а в четвертом – горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан, а за нянькиным сундуком очень много разных вещей: катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц. В этом мире, кроме няни и Гриши, часто бывают мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких ножках и висят часы, существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа – личность в высшей степени загадочная! Няня и мама понятны: они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа – неизвестно. Еще есть другая загадочная личность – это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было...

В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и тетей, что не знаешь, к кому и подбежать. Но страннее и нелепее всего – лошади. Гриша глядит на ихдвигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на няньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит.

Вдруг он слышит страшный топот... По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на няньку: не опасно ли? Но нянька не бежит и не плачет, значит, не опасно. Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт.

Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что и ему тоже нужно бежать, и бежит за кошками.

– Стой! – кричит ему нянька, грубо хватая его за плечи. – Куда ты? Нешто тебе велено шалить?

Вот какая-то няня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами. Гриша проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин.

– Это ты зачем же? – кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин. – Дурак!

Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка, но он боится, что его опять ударят по руке.

– Мое вам почтение! – слышит вдруг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий, густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами.

К великому его удовольствию, этот человек подает няньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать. Блеск солнца, шум экипажей, лошади, светлые пуговицы, всё это так поразительно ново и не страшно, что душа Гриши наполняется чувством наслаждения и он начинает хохотать.

– Пойдем! Пойдем! – кричит он человеку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду.

– Куда пойдем? – спрашивает человек.

– Пойдем! – настаивает Гриша.

Ему хочется сказать, что недурно бы также прихватить с собой папу, маму и кошку, но язык говорит совсем не то, что нужно.

Немного погодя нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег. И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними. Минуют старательно снеговые глыбы и лужи, потом по грязной, темной лестнице входят в комнату. Тут много дыма, пахнет жарким и какая-то женщина стоит около печки и жарит котлеты. Кухарка и нянька целуются и вместе с человеком садятся на скамью и начинают говорить тихо. Грише, окутанному, становится невыносимо жарко и душно.

«Отчего бы это?» – думает он, оглядываясь.

Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит большим, черным дуплом...

– Ма-а-ма! – тянет он.

– Ну, ну, ну! – кричит нянька. – Подождешь!

Кухарка ставит на стол бутылку, три рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по несколько раз, и человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь.

Гриша тянется к пирогу, и ему дают кусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька... Ему тоже хочется выпить.

– Дай! Няня, дай! – просит он.

Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он тарачит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется.

Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка...

Вечером он никак не может уснуть. Солдаты с вениками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы, – всё это собралось в кучу и давит его мозг. Он ворочается с боку на бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать.

– А у тебя жар! – говорит мама, касаясь ладонью его лба. – Отчего бы это могло случиться?

– Печка! – плачет Гриша. – Пошла отсюда, печка!

– Вероятно, покушал лишнее... – решает мама.

И Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки.

Любовь

«Три часа ночи. В окна мои смотрится тихая, апрельская ночь и ласково мигает мне своими звездами. Я не сплю. Мне так хорошо!

Всего меня от головы до пяток распирает какое-то странное, непонятное чувство. Анализировать его сейчас не умею, некогда, лень, да и бог с ним, с этим анализом! Ну, станет ли отыскивать смысл в своих ощущениях человек, когда летит вниз головой с колокольни или узнает, что выиграл двести тысяч? До этого ли ему?»

Приблизительно так начиналось любовное письмо к Саше, девятнадцатилетней девочке, в которую я влюбился. Пять раз начинал я его, столько же раз принимался рвать бумагу, зачеркивал целые страницы и вновь их переписывал. Возился я с письмом долго, как с заказанным романом, и вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннее, вычурнее и чувствительнее, а потому, что хотелось до бесконечности продлить самый процесс этого писанья, когда сидишь в тиши своего кабинета, в который глядится весенняя ночь, и беседуешь с собственными грезами. Между строк я видел дорогой образ, и, казалось мне, за одним столом со мной сидели духи, такие же, как я, наивно-счастливые, глупые и блаженно улыбающиеся, и тоже строчили. Я писал и то и дело поглядывал на свою руку, которая всё еще томилась от недавнего рукопожатия, а если мне приходилось отводить глаза в сторону, то я видел решетку зеленой калитки. Сквозь эту решетку Саша глядела на меня после того, как я простился с ней. Когда я простился с Сашей, я ни о чем не думал и только любовался ее фигурой, как всякий порядочный человек любит хорошую женщину; увидев же сквозь решетку два больших глаза, я вдруг, словно по наитию, понял, что я влюблен, что между нами всё уже решено и кончено, что мне остается только соблюсти кое-какие формальности.

Большая также приятность запечатать любовное письмо, медленно одеться, выйти потихоньку из дому и нести это сокровище к почтовому ящику. На небе уже нет звезд; вместо них на востоке над крышами пасмурных домов белеет длинная полоса, кое-где прерываемая облаками; от этой полосы по всему небу разливается бледность. Город спит, но уж водовозы выехали, и где-то на далекой фабрике свисток будит рабочих. Возле почтового ящика, слегка подернутого росой, вы непременно увидите неуклюжего дворника в колоколообразном тулупе и с палкой. Находится он в состоянии каталепсии: не спит и не бодрствует, а что-то среднее...

Если бы почтовые ящики знали, как часто люди обращаются к ним за решением своей участи, то не имели бы такого смиренного вида. Я, по крайней мере, едва не облобызал свой почтовый ящик и, глядя на него, вспомнил, что почта – величайшее благо!..

Тому, кто когда-либо был влюблен, предлагаю вспомнить, что, опустивши в почтовый ящик письмо, обыкновенно спешишь домой, быстро ложишься в постель и укрываешься одеялом в полной уверенности, что не успеешь завтра проснуться, как тебя охватит воспоминание о вчерашнем и ты с восторгом будешь глядеть на окно, в котором сквозь складки занавесок жадно пробивается дневной свет...

Но к делу... На другой день в полдень горничная Саши принесла мне такой ответ: «Я очень рада приходите сегодня пожалуйста к нам непременно я вас буду ждать. Ваша С.» Запятой ни одной. Это отсутствие знаков препинания, *e* в слове «непремѣнно», всё письмо и даже длинный, узкий конвертик, в который оно было вложено, наполнили мою душу умилением. В размашистом, но несмелом почерке я узнал походку Саши, ее манеру высоко поднимать брови во время смеха, движения ее губ... Но содержание письма меня не удовлетворило... Во-первых, на поэтические письма так не отвечают, и, во-вторых, зачем мне идти в дом Саши и ждать там, пока толстая мамаша, братцы и приживалки догадаются оставить нас наедине? Они и не подумают догадаться, а нет ничего противнее, как сдерживать свои восторги ради того только, что около вас торчит какой-нибудь одушевленный пустяк, вроде полуглухой старушки

или девочки, пристающей с вопросами. Я послал с горничной ответ, в котором предлагал Саше избрать местом для rendez-vous какой-нибудь сад или бульвар. Мое предложение было охотно принято. Я попал им, как говорится, в самую жилку.

В пятом часу вечера я пробирался в самый далекий и глухой угол городского сада. В саду не было ни души, и свидание могло быть назначено где-нибудь поближе, на аллеях или в беседках, но женщины не любят романов наполовину; коли мед, так и ложка, коли свидание, так подавай самую глухую и непроходимую чашу, где рискуешь наткнуться на жулика или подкутившего мещанина.

Когда я подошел к Саше, она стояла ко мне спиной, а в этой спине прочел я чертовски много таинственности. Казалось, спина, затылок и черные крапинки на платье говорили: тссс! Девушка была в простеньком, ситцевом платьице, поверх которого была накинута легкая тальмочка. Для пущей таинственности лицо пряталось за белой вуалью. Я, чтобы не портить гармонии, должен был подойти на цыпочках и начать говорить полушёпотом.

Насколько я теперь понимаю, в этом rendez-vous я был не сутью, а только деталью. Сашу не столько занимал *он*, сколько романичность свидания, его таинственность, поцелуи, молчание угрюмых деревьев, мои клятвы... Не было минуты, чтобы она забылась, замерла, сбросила с своего лица выражение таинственности, и, право, будь вместо меня какой-нибудь Иван Сидорыч или Сидор Иваныч, она чувствовала бы себя одинаково хорошо. Извольте-ка при таких обстоятельствах добиться, любят вас или нет? Если любят, то по-настоящему или не по-настоящему?

Из сада повел я Сашу к себе. Присутствие в холостой квартире любимой женщины действует, как музыка и вино. Обыкновенно начинаешь говорить о будущем, причем самоуверенность и самонадеянность не знают границ. Строишь проекты, планы, с жаром толкуешь о генеральстве, не будучи еще прапорщиком, и в общем несешь такую красноречивую чушь, что слушательнице нужно иметь много любви и незнания жизни, чтобы поддакивать. К счастью для мужчин, любящие женщины всегда ослеплены любовью и никогда не знают жизни. Они мало того, что поддакивают, но еще бледнеют от священного ужаса, благоговеют и ловят с жадностью каждое слово маньяка. Саша слушала меня со вниманием, но скоро на лице ее прочел я рассеянность: она меня не понимала. Будущее, о котором говорил я ей, занимало ее только своей внешностью, и напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовал вопрос, где будет ее комната, какие обои будут в этой комнате, зачем у меня пианино, а не рояль, и т. д. Она внимательно рассматривала штучки на моем столе, фотографии, нюхала флаконы, отлепляла от конвертов старые марки, которые ей для чего-то нужны.

– Пожалуйста, собери мне старые марки! – сказала она, сделав серьезное лицо. – Пожалуйста!

Затем она нашла где-то на окне орех, громко раскусила его и съела.

– Отчего ты не наклеишь на свои книги билетиков? – спросила она, окинув взглядом шкаф с книгами.

– Зачем это?

– А так, чтобы у каждой книги свой номер был... А где я свои книги поставлю? У меня ведь тоже есть книги.

– А какие у тебя книги? – спросил я.

Саша подняла брови, подумала и сказала:

– Разные...

И если бы я вздумал спросить ее, какие у нее мысли, убеждения, цели, она, наверное, таким же образом подняла бы брови, подумала и сказала: «разные»...

Далее, я проводил Сашу домой и ушел от нее самым настоящим, патентованным женихом, каким и считался, пока нас не обвенчали. Если читатель позволит мне судить по одному только моему личному опыту, то я уверяю, что женихом быть очень скучно, гораздо скучнее,

чем быть мужем или ничем. Жених – это ни то ни сё: от одного берега ушел, к другому не дошел; не женат и нельзя сказать, чтобы был холост, а так что-то похожее на состояние дворника, о котором я упомянул выше.

Ежедневно, улучив свободную минутку, я спешил к невесте. Обыкновенно, идя к ней, я нес с собой тьму надежд, желаний, намерений, предложений, фраз. Мне всякий раз казалось, что едва только горничная откроет дверь, как я, которому душно и тесно, погружусь по горло в прохладительное счастье. Но на деле происходило иначе. Всякий раз, приходя к невесте, я заставал всю семью ее и домочадцев за шитьем глупого приданого. (А гророрс: шили два месяца и нашили меньше, чем на сто рублей.) Пахло утюгами, стеарином и угаром. Под ногами хрустел стеклярус. Две самые главные комнаты были завалены волнами полотна, колленкора и кисеи, а из волн выглядывала головка Саши с ниточкой в зубах. Все шьющие встречали меня радостным криком, но тотчас же выпроваживали в столовую, где я не мог мешать и видеть то, что позволено видеть только мужьям. Скрепя сердце, я должен был сидеть в столовой и беседовать с приживалкой Пименовной. Саша, озабоченная и встревоженная, то и дело пробегала мимо меня с наперстком, мотком шерсти или с другой какой-нибудь скукой.

– Погоди, погоди... Я сейчас! – говорила она, когда я поднимал на нее умоляющие глаза. – Представь, подлая Степанида в барежевом платье весь лиф испортила!

И, не дождавшись милости, я злился, уходил и прогуливался по тротуарам в обществе своей жениховской палочки. А то, бывало, захочешь погулять или прокатиться с невестой, зайдешь к ней, а она уже стоит со своей маменькой в передней совсем одетая и играет зонтиком.

– А мы в пассаж идем! – говорит она. – Нужно прикупить еще кашемиру и шляпку переменить.

Пропала прогулка! Я привязывался к барыням и шел с ними в пассаж. Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгуются и стараются перехитрить надувающего лавочника. Мне стыдно делалось, когда Саша, переворочав массу материи и сбавив цену ad minimum, уходила из магазина, ничего не купив или же приказав отрезать ей копеек на 40—50. Выйдя из магазина, Саша и маменька с озабоченными, испуганными лицами долго толковали о том, что они ошиблись, купили не того, что следовало купить, что на ситце слишком темны цветочки, и т. д.

Нет, скучно быть женихом! Бог с ним!

Теперь я женат. Сейчас вечер. Я сижу у себя в кабинете и читаю. Позади меня на софе сидит Саша и что-то громко жует. Мне хочется выпить пива.

– Поищи-ка, Саша, штопор... – говорю я. – Тут он где-то валяется.

Саша вскакивает, беспорядочно роется в двух-трех бумажных кипах, роняет спички и, не найдя штопора, молча садится... Проходит минут пять – десять... Меня начинает помучивать червячок – и жажда, и досада...

– Саша, поищи же штопор! – говорю я.

Саша опять вскакивает и роется около меня в бумагах. Ее жеванье и шелест бумаги действуют на меня, как лязганье потираемых друг о друга ножей... Я встаю и сам начинаю искать штопор. Наконец он найден и пиво откупорено. Саша остается около стола и начинает длинно рассказывать о чем-то.

– Ты бы почитала что-нибудь, Саша... – говорю я.

Она берет книгу, садится против меня и принимается шевелить губами... Я гляжу на ее маленький лобик, шевелящиеся губы и задумываюсь.

«Ей двадцатый год... – думаю я. – Если взять интеллигентного мальчика таких же лет и сравнить, то какая разница! У мальчика и знания, и убеждения, и умишко».

Но я прощаю эту разницу, как прощаю узенький лобик и шевелящиеся губы... Бывало, помню, в дни моего ловеласничества я бросал женщин из-за пятна на чулке, из-за одного глупого слова, из-за нечищенных зубов, а тут я прощаю всё: жеванье, возню со штопором, неря-

шество, длинные разговоры о выеденном яйце. Прощаю я почти бессознательно, не насилуя своей воли, словно ошибки Саши – мои ошибки, а от многого, что прежде меня коробило, я прихожу в умиление и даже восторг. Мотивы такого всепрощения сидят в моей любви к Саше, а где мотивы самой любви – право, не знаю.

СВЯТОЮ НОЧЬЮ

Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы.

Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые вплотную усыпали всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело враспынную несколько ярко-красных огней...

В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой.

– Как, однако, долго нет парома! – сказал я.

– А пора ему быть, – ответил мне силуэт.

– Ты тоже дожидаясь парома?

– Нет, я так... – зевнул мужик, – люминации дожидаясь. Поехал бы, да, признаться, пяточка на паром нет.

– Я тебе дам пяточок.

– Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пяточок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!

Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:

– Иероним! Иерони-им!

Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.

– Христос воскрес! – сказал он.

Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.

– Иерони-м! – послышался глухой протяжный крик.

– С того берега кричат, – сказал мужик. – Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним.

Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, взглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.

– Скорей! Иероним! – крикнул мой мужик. – Барин дожидается!

Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.

– Отчего так долго? – спросил я, вскакивая на паром.

– Простите Христа ради, – ответил тихо Иероним. – Больше никого нет?
– Никого...

Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крикнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня – значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «люминация», которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда неслся бархатный звон, была всё та же беспросветная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное ура.

– Как красиво! – сказал я.

– И сказать нельзя, как красиво! – вздохнул Иероним. – Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?

Я сказал, откуда я.

– Так-с... радостный день нынче... – продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. – Радуете и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?

Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продлинновенных», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:

– А какие, батюшка, у вас скорби?

– Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий¹⁵, умер иеродьякон Николай...

– Что ж, это божья воля! – сказал я, подделываясь под монашеский тон. – Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в царство небесное.

– Это верно.

Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались всё более и более.

– И писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, – прервал молчание Иероним, – но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:

– Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме и всё мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, господи, его душу!

Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.

– Ваше благородие, а ум какой светлый! – сказал он певучим голосом. – Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрени: «О, любезнаго! о,

¹⁵ ...во время паремий... – Чтения из книг Ветхого завета на праздничных богослужениях.

сладчайшаго твоего гласа!»¹⁶ Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!

– Какой дар? – спросил я.

Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно верить тайны, весело засмеялся.

– У него был дар акафисты¹⁷ писать... – сказал он. – Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи¹⁸ разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон¹⁹, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!

Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:

– Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!

– А разве акафисты трудно писать? – спросил я.

– Большая трудность... – покрутил головой Иероним. – Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самонаименованной точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»... Первый икос²⁰ завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангел творче и господи сил»²¹, в акафисте к пресвятой богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть»²², к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суца естеством»²³ и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб всё было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высоту, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубину, неудобозримая и ангельскими очима!»²⁴ В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!»²⁵

Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.

¹⁶ «О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!» – Из пасхального канона (песнь 9, ирмос). Пасхальный канон – песнопение, славословящее Христа.

¹⁷ ...Акафисты – церковные хвалебные песнопения в честь Христа, богородицы и некоторых святых.

¹⁸ ...Иеромонахи – монахи, посвященные в священники.

¹⁹ ...Иеродьякон – монах, имеющий сан дьякона.

²⁰ Кондак, икос – части церковных песнопений: кондак – краткое восхваление празднуемого святого; икос – изложение его подвижнических деяний; ирмос – начальные строки канона, определяющие склад и пение последующих стихов.

²¹ ...«Ангелов творче и господи сил...» – Из «Акафиста Иисусу сладчайшему» (икос 1).

²² ...«Ангел предстатель с небесе послан бысть...» – Из «Акафиста пресвятой богородице» (икос 1).

²³ ...«Ангела образом, земнаго суца естеством...» – Из «Акафиста Николаю Чудотворцу» (икос 1).

²⁴ ...«Радуйся, высоту, неудобовосходимая ~ глубина, неудобозримая и ангельскими очима!» – Из «Акафиста пресвятой богородице» (икос 1).

²⁵ ...«Радуйся, древо светлоплодовитое ~ им же покрываются мнози!» – Из «Акафиста пресвятой богородице» (икос 7).

– Дерево светлоплодовитое... дерево благосеннолиственное... – пробормотал он. – Найдет же такие слова! Даст же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него всё выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника сущим...»²⁶ – сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!»²⁷ – сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения!» Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!

– Да, в таком случае жаль, что он умер, – сказал я. – Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем...

Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что всё темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

– Николай печатал свои акафисты? – спросил я Иеронима.

– Где ж печатать? – вздохнул он. – Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!

– С предубеждением к ним относятся?

– Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.

– Для чего же он писал?

– Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать...

Иероним оставил канат и подошел ко мне.

– Мы вроде как бы друзья с ним были, – зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. – Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а всё за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я всё равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ всё хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, всё равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил всегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...

Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.

²⁶ «Светоподательна светильника сущим...» – Из «Акафиста Иисусу сладчайшему» (икос 11).

²⁷ ...«Радуйся, крине райскаго прозябения!» – Из «Акафиста Николаю Чудотворцу» (икос 1).

– Сейчас запоют пасхальный канон... – сказал Иероним, – а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!

– А вы разве не будете в церкви?

– Мне нельзя-с... Перевозить нужно...

– Но разве вас не сменяют?

– Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!..

А, признаться, хотелось бы в церковь...

– Вы монах?

– Да-с... то есть я послушник.

Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пяточок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром...

Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротопанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Всё это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном²⁸. Говорили громко, но смеха и фыркания не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.

«Какая беспокойная ночь! – думал я. – Как хорошо!»

Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.

Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут.

Не успел я занять места, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадиллом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался

²⁸ *Росный ладан* – лучший сорт ладана, благовонная смола, привозимая из Сиама.

дьякон. На этот раз за ним шел отец наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.

Мне, слившемся с толпой и заразившемся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?

«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь... – пели на клиросе, – се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя...»²⁹

Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Всё, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всём храме человека счастливее его. Теперь же он плывал взад и вперед по темной реке и тосковал по своему умершему брате и друге.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка.

Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходявшего по ночам пере-кликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов.

Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспokoйство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла.

Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.

– Христос воскрес! Больше никого нет? – спросил тихий голос.

Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный.

– Вас еще не сменили? – удивился я.

²⁹ «Возведи окрест очи твои ~ и моря, и востока чада твоя...» – Из пасхального канона (песнь 8, ирмос).

– Меня-с? – переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. – Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с.

Он да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места.

Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.

В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.

Дамы

Федор Петрович, директор народных училищ N—ской губернии, считающий себя человеком справедливым и великодушным, принимал однажды у себя в канцелярии учителя Временского.

– Нет, г. Временский, – говорил он, – отставка неизбежна. С таким голосом, как у вас, нельзя продолжать учительской службы. Да как он у вас пропал?

– Я холодного пива, вспотевши, выпил... – прошипел учитель.

– Экая жалость! Служил человек четырнадцать лет, и вдруг такая напасть! Чёрт знает из-за какого пустяка приходится свою карьеру ломать. Что же вы теперь намерены делать?

Учитель ничего не ответил.

– Вы семейный? – спросил директор.

– Жена и двое детей, ваше превосходительство... – прошипел учитель.

Наступило молчание. Директор встал из-за стола и прошелся из угла в угол, волнуясь.

– Ума не приложу, что мне с вами делать! – сказал он. – Учителем быть вы не можете, до пенсии вы еще не дотянули... отпустить же вас на произвол судьбы, на все четыре стороны, не совсем ловко. Вы для нас свой человек, прослужили четырнадцать лет, значит, наше дело помочь вам... Но как помочь? Что я для вас могу сделать? Войдите вы в мое положение: что я могу для вас сделать?

Наступило молчание; директор ходил и всё думал, а Временский, подавленный своим горем, сидел на краешке стула и тоже думал. Вдруг директор просиял и даже пальцами шелкнул.

– Удивляюсь, как это я раньше не вспомнил! – заговорил он быстро. – Послушайте, вот что я могу предложить вам... На будущей неделе письмоводитель у нас в приюте уходит в отставку. Если хотите, поступайте на его место! Вот вам!

Временский, не ожидавший такой милости, тоже просиял.

– И отлично, – сказал директор. – Сегодня же напишите прошение...

Отпустив Временского, Федор Петрович почувствовал облегчение и даже удовольствие: перед ним уже не торчала согбенная фигура шипящего педагога, и приятно было сознавать, что, предложив Временскому свободную вакансию, он поступил справедливо и по совести, как добрый, вполне порядочный человек. Но это хорошее настроение продолжалось недолго. Когда он вернулся домой и сел обедать, его жена, Настасья Ивановна, вдруг вспомнила:

– Ах, да, чуть было не забыла! Вчера приезжала ко мне Нина Сергеевна и просила за одного молодого человека. Говорят, у нас в приюте вакансия открывается...

– Да, но это место уже другому обещано, – сказал директор и нахмурился. – И ты знаешь мое правило: я никогда не даю мест по протекции.

– Я знаю, но для Нины Сергеевны, полагаю, можно сделать исключение. Она нас как родных любит, а мы для нее до сих пор еще ничего хорошего не сделали. И не думай, Федя, отказывать! Своими капризами ты и ее обидишь и меня.

– А кого она рекомендует?

– Ползухина.

– Какого Ползухина? Это того, что на Новый год в собрании Чацкого играл? Джентльмена этого? Ни за что!

Директор перестал есть.

– Ни за что! – повторил он. – Боже меня сохрани!

– Но почему же?

– Пойми, матушка, что уж ежели молодой человек действует не прямо, а через женщин, то, стало быть, он дрянь! Почему он сам ко мне не идет?

После обеда директор лег у себя в кабинете на софе и стал читать полученные газеты и письма.

«Милый Федор Петрович! – писала ему жена городского головы. – Вы как-то говорили, что я сердцеvedка и знаток людей. Теперь вам предстоит проверить это на деле. К вам придет на днях просить места письмоводителя в нашем приюте некий К. Н. Ползухин, которого я знаю за прекрасного молодого человека. Юноша очень симпатичен. Приняв в нем участие, вы убедитесь...» и т. д.

– Ни за что! – проговорил директор. – Боже меня сохрани!

После этого не проходило дня, чтобы директор не получал писем, рекомендовавших Ползухина. В одно прекрасное утро явился и сам Ползухин, молодой человек, полный, с бритым, жокейским лицом, в новой черной паре...

– По делам службы я принимаю не здесь, а в канцелярии, – сказал сухо директор, выслушав его просьбу.

– Простите, ваше превосходительство, но наши общие знакомые посоветовали мне обратиться именно сюда.

– Гм!.. – промычал директор, с ненавистью глядя на его остроносые башмаки. – Насколько я знаю, – сказал он, – у вашего батюшки есть состояние и вы не нуждаетесь, какая же вам надобность проситься на это место? Ведь жалованье грошовое!

– Я не из-за жалованья, а так... И все-таки служба казенная...

– Так-с... Мне кажется, через месяц же вам надоест эта должность и вы ее бросите, а между тем есть кандидаты, для которых это место – карьера на всю жизнь. Есть бедняки, для которых...

– Не надоест, ваше превосходительство! – перебил Ползухин. – Честное слово, я буду стараться!

Директора взорвало.

– Послушайте, – спросил он, презрительно улыбаясь, – почему вы не обратились сразу ко мне, а нашли нужным предварительно беспокоить дам?

– Я не знал, что это для вас будет неприятно, – ответил Ползухин и сконфузился. – Но, ваше превосходительство, если вы не придаете значения рекомендательным письмам, то я могу вам представить аттестации...

Он достал из кармана бумагу и подал ее директору. Под аттестацией, написанной канцелярским слогом и почерком, стояла подпись губернатора. По всему видно было, что губернатор подписал не читая, лишь бы только отделаться от какой-нибудь навязчивой барыни.

– Нечего делать, преклоняюсь... слушаю-с... – сказал директор, прочитав аттестацию, и вздохнул, – Подавайте завтра прошение... Нечего делать...

И когда Ползухин ушел, директор весь отдался чувству отвращения.

– Дрянь! – шипел он, шагая из угла в угол. – Добился-таки своего, негодный шаркун, бабий угодник! Гадина! Тварь!

Директор громко плюнул в дверь, за которой скрылся Ползухин, и вдруг сконфузился, потому что в это время входила к нему в кабинет барыня, жена управляющего казенной палаты...

– Я на минутку, на минутку... – начала барыня. – Садитесь, кум, и слушайте меня внимательно... Ну-с, говорят, у вас есть свободная вакансия... Завтра или сегодня будет у вас молодой человек, некто Ползухин...

Барыня щебетала, а директор глядел на нее мутными, осовелыми глазами, как человек, собирающийся упасть в обморок, глядел и улыбался из приличия.

А на другой день, принимая у себя в канцелярии Временского, директор долго не решался сказать ему правду. Он мялся, путался и не находил, с чего начать, что сказать. Ему хотелось извиниться перед учителем, рассказать ему всю сущую правду, но язык заплетался,

как у пьяного, уши горели и стало вдруг обидно и досадно, что приходится играть такую нелепую роль – в своей канцелярии, перед своим подчиненным. Он вдруг ударил по столу, вскочил и закричал сердито:

– Нет у меня для вас места! Нет и нет! Оставьте меня в покое! Не мучайте меня! Отстаньте от меня, наконец, сделайте одолжение!

И вышел из канцелярии.

Сильные ощущения

Дело происходило не так давно в московском окружном суде. Присяжные заседатели, оставленные в суде на ночь, прежде чем лечь спать, завели разговор о сильных ощущениях. Их навело на это воспоминание об одном свидетеле, который стал заикой и поседел, по его словам, благодаря какой-то страшной минуте. Присяжные порешили, что, прежде чем уснуть, каждый из них пороется в своих воспоминаниях и расскажет что-нибудь. Жизнь человеческая коротка, но всё же нет человека, который мог бы похвастать, что у него в прошлом не было ужасных минут.

Один присяжный рассказал, как он тонул; другой рассказал, как однажды ночью он, в местности, где нет ни врачей, ни аптекарей, отравил собственного ребенка, давши ему по ошибке вместо соды цинкового купороса. Ребенок не умер, но отец едва не сошел с ума. Третий, еще не старый, болезненный человек, описал два своих покушения на самоубийство: раз стрелялся, другой раз бросился под поезд.

Четвертый, маленький, щеголевато одетый толстяк, рассказал следующее:

«Мне было 22—23 года, не больше, когда я по уши влюбился в свою теперешнюю жену и сделал ей предложение... Теперь я с удовольствием высек бы себя за раннюю женитьбу, но тогда не знаю, что было бы со мной, если бы Наташа ответила мне отказом. Любовь была самая настоящая, такая, как в романах описывают, бешеная, страстная, и прочее. Мое счастье душило меня, и я не знал, куда мне уйти от него, и я надоел и отцу, и приятелям, и прислуге, рассказывая постоянно о том, как пылко я люблю. Счастливые люди это самые надоедливые, самые скучные люди. Я надоедал страшно, даже теперь мне совестно...

Между приятелями был у меня тогда один начинающий адвокат. Теперь этот адвокат известен на всю Россию, тогда же он только что входил в силу и не был еще богат и знаменит настолько, чтобы при встрече со старым приятелем иметь право не узнавать, не снимать шляпы. Бывал я у него раз или два в неделю. Когда я приходил к нему, мы оба разваливались на диванах и начинали философствовать.

Как-то я лежал у него на диване и толковал о том, что нет неблагоприятнее профессии, как адвокатская. Мне хотелось доказать, что суд после того, как допрос свидетелей окончен, легко может обойтись без прокурора и без защитника, потому что тот и другой не нужны и только мешают. Если взрослый, душевно и умственно здоровый присяжный заседатель убежден, что этот потолок бел, что Иванов виновен, то бороться с этим убеждением и победить его не в силах никакой Демосфен. Кто может убедить меня, что у меня рыжие усы, если я знаю, что они черные? Слушая оратора, я, быть может, и расчувствуюсь и заплачу, но коренное убеждение мое, основанное большею частью на очевидности и на факте, нисколько не изменится. Мой же адвокат доказывал, что я молод еще и глуп и что я говорю мальчишеский вздор. По его мнению, очевидный факт оттого, что его освещают добросовестные, сведущие люди, становится еще очевиднее — это раз; во-вторых, талант — это стихийная сила, это ураган, способный обращать в пыль даже камни, а не то что такой пустяк, как убеждения мещан и купцов второй гильдии. Человеческой немощи бороться с талантом так же трудно, как глядеть не мигая на солнце или остановить ветер. Один простой смертный силою слова обращает тысячи убежденных дикарей в христианство; Одиссей был убежденнейший человек в свете, но спасовал перед сиренами³⁰, и т. д. Вся история состоит из подобных примеров, а в жизни они встречаются на каждом шагу, да так и должно быть, иначе умный и талантливый человек не имел бы никакого преимущества перед глупцом и бездарным.

³⁰ *Одиссей был убежденнейший человек в свете, но спасовал перед сиренами...* — Подразумевается эпизод, описанный в «Одиссее» Гомера (песнь 12).

Я стоял на своем и продолжал доказывать, что убеждение сильнее всякого таланта, хотя, откровенно говоря, сам не мог точно определить, что такое именно убеждение и что такое талант. Вероятно, говорил я только, чтобы говорить.

– Взять хоть тебя... – сказал адвокат. – Ты убежден в настоящее время, что твоя невеста ангел и что нет во всем городе человека счастливее тебя. А я тебе говорю: достаточно мне 10—20 минут, чтобы ты сел за этот самый стол и написал отказ своей невесте.

Я засмеялся.

– Ты не смейся, я говорю серьезно, – сказал приятель. – Захочу, и через 20 минут ты будешь счастлив от мысли, что тебе не нужно жениться. У меня не бог весть какой талант, но ведь и ты не из сильных.

– А ну-ка, попробуй! – сказал я.

– Нет, зачем же? Я ведь это так только говорю. Ты мальчик добрый, и было бы жестоко подвергать тебя такому опыту. И к тому же я сегодня не в ударе.

Мы сели ужинать. Вино и мысли о Наташе, моя любовь наполнили всего меня ощущением молодости и счастья. Счастье мое было так безгранично велико, что сидевший против меня адвокат с его зелеными глазами казался мне несчастным, таким маленьким, сереньким...

– Попробуй же! – приставал я к нему. – Ну, прошу!

Адвокат покачал головой и поморщился. Я, видимо, уже начал надоедать ему.

– Я знаю, – сказал он, – после моего опыта ты мне спасибо скажешь и назовешь меня спасителем, но ведь нужно и о невесте подумать. Она тебя любит, твой отказ заставил бы ее страдать. А какая она у тебя прелесть! Завидую я тебе.

Адвокат вздохнул, выпил вина и стал говорить о том, какая прелесть моя Наташа. У него был необыкновенный дар описывать. Про женские ресницы или мизинчик он мог наговорить вам целую кучу слов. Слушал я его с наслаждением.

– Видел я на своем веку много женщин, – говорил он, – но даю тебе честное слово, говорю, как другу, твоя Наталья Андреевна – это перл, это редкая девушка. Конечно, есть и недостатки, их даже много, если хочешь, но всё же она очаровательна.

И адвокат заговорил о недостатках моей невесты. Теперь я отлично понимаю, что это говорил он вообще о женщинах, об их слабых сторонах вообще, мне же тогда казалось, что он говорит только о Наташе. Он восторгался вздернутым носом, вскрикиваниями, визгливым смехом, жеманством, именно всем тем, что мне так в ней не нравилось. Всё это, по его мнению, было бесконечно мило, грациозно, женственно. Незаметно для меня, он скоро с восторженного тона перешел на отечески назидательный, потом на легкий, презрительный... Председателя суда с нами не было, и некому было остановить расходившегося адвоката. Я не успевал рта разинуть, да и что я мог сказать? Приятель говорил не новое, давно уже всем известное, и весь яд был не в том, что он говорил, а в анафемской форме. То есть чёрт знает какая форма! Слушая его тогда, я убедился, что одно и то же слово имеет тысячу значений и оттенков, смотря по тому, как оно произносится, по форме, какая придается фразе. Конечно, я не могу передать вам ни этого тона, ни формы, скажу только, что, слушая приятеля и шагая из угла в угол, я возмущался, негодовал, презирал с ним вместе. Я поверил ему даже, когда он со слезами на глазах заявил мне, что я великий человек, что я достоин лучшей участи, что мне предстоит в будущем совершить что-то такое особенное, чему может помешать женитьба!

– Друг мой! – восклицал он, крепко пожимая мне руку. – Умоляю тебя, заклинаю: остановись, пока не поздно. Остановись! Да хранит тебя небо от этой странной, жестокой ошибки! Друг мой, не губи своей молодости!

Хотите – верьте, хотите – нет, но в конце концов я сидел за столом и писал своей невесте отказ. Я писал и радовался, что еще не ушло время исправить ошибку. Запечатав письмо, я поспешил на улицу, чтобы опустить его в почтовый ящик. Со мной пошел и адвокат.

– И отлично! Превосходно! – похвалил он меня, когда мое письмо к Наташе исчезло во мраке почтового ящика. – От души тебя поздравляю. Я рад за тебя.

Пройдя со мной шагов десять, адвокат продолжал:

– Конечно, брак имеет и свои хорошие стороны. Я, например, принадлежу к числу людей, для которых брак и семейная жизнь – всё.

И он уже описывал свою жизнь, и предо мною предстали все безобразия одинокой, холостой жизни.

Он говорил с восторгом о своей будущей жене, о сладостях обыкновенной, семейной жизни и восторгался так красиво, так искренно, что когда мы подошли к его двери, я уже был в отчаянии.

– Что ты делаешь со мной, ужасный человек?! – говорил я, задыхаясь. – Ты погубил меня! Зачем ты заставил меня написать то проклятое письмо? Я люблю ее, люблю!

И я клялся в любви, я приходил в ужас от своего поступка, который уже казался мне диким и бессмысленным. Сильнее того ощущения, которое испытал я в то время, и представить, господа, невозможно. О, что я тогда пережил, что перечувствовал! Если бы нашелся добрый человек, который подsunул мне в ту пору револьвер, то я с наслаждением пустил бы себе пулю в лоб.

– Ну, полно, полно... – сказал адвокат, хлопая меня по плечу, и засмеялся. – Перестань плакать. Письмо не дойдет до твоей невесты. Адрес на конверте писал не ты, а я, и я его так запутал, что на почте ничего не поймут. Всё это да послужит для тебя уроком: не спорь о том, чего не понимаешь.

Теперь, господа, предлагаю говорить следующему».

Пятый присяжный поудобней уселся и раскрыл уже рот, чтобы начать свой рассказ, как послышался бой часов на Спасской башне.

– Двенадцать... – сосчитал один из присяжных. – А к какому, господа, разряду вы отнесете ощущения, которые испытывает теперь наш подсудимый? Он, этот убийца, ночует здесь в суде в арестантской, лежит или сидит, и, конечно, не спит и в течение всей бессонной ночи прислушивается к этому звону. О чем он думает? Какие грезы посещают его?

И присяжные как-то все вдруг забыли о «сильных ощущениях»; то, что пережил их товарищ, писавший когда-то письмо к своей Наташе, казалось не важным, даже не забавным; и уже никто не рассказывал, стали тихо, в молчании ложиться спать...

О женщинах

Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп.

Анатомическое строение ее стоит ниже всякой критики. Когда какой-нибудь солидный отец семейства видит изображение женщины «о натюрель», то всегда брезгливо морщится и сплевывает в сторону. Иметь подобные изображения на виду, а не в столе или у себя в кармане, считается моветонством. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы ни был красен его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрит на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет того Квазимодо³¹, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина.

Один отставной поручик, обокравший тещу и щеголявший в жениных полусапожках, уверял, что если человек произошел от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уж мужчина. Титулярный советник Слюнкин, от которого жена запирала водку, часто говаривал: «Самое ехидное насекомое в свете есть женский пол».

Ум женщины никуда не годится. У нее волос долог, но ум короток; у мужчины же наоборот. С женщиной нельзя потолковать ни о политике, ни о состоянии курса, ни о чиншевиках.³² В то время, когда гимназист III класса решает уже мировые задачи, а коллежские регистраторы изучают книгу «30 000 иностранных слов»³³, умные и взрослые женщины толкуют только о модах и военных.

Логика женщины вошла в поговорку. Когда какой-нибудь надворный советник Анафемский или департаментский сторож Дорофей заводят речь о Бисмарке³⁴ или о пользе наук, то любо послушать их: приятно и умирительно; когда же чья-нибудь супруга, за неимением других тем, начинает говорить о детях или пьянстве мужа, то какой супруг воздержится, чтобы не воскликнуть: «Затарантила таранта! Ну, да и логика же, господи, прости ты меня грешного!» Изучать науки женщина неспособна. Это явствует уже из одного того, что для нее не заводят учебных заведений. Мужчины, даже идиот и кретин, могут не только изучать науки, но даже и занимать кафедры, но женщина – ничтожество ей имя!³⁵ Она не сочиняет для продажи учебников, не читает рефератов и длинных академических речей, не ездит на казенный счет в ученые командировки и не утилизирует заграничных диссертаций. Ужасно неразвита! Творческих талантов у нее – ни капли. Не только великое и гениальное, но даже пошлое и шантажное пишется мужчинами, ей же дана от природы только способность заворачивать в творения мужчин пирожки и делать из них папильотки.

³¹ *Квазимодо* – уродец, по имени персонажа романа Гюго «Собор Парижской богородицы».

³² ...*потолковать* ~ *о чиншевиках*. – С февраля 1886 г. в русской печати широко дебатировался вопрос об устройстве быта и правах крестьян-собственников западных и белорусских губерний, вносивших за аренду земли определенный оброк (чинш) помещикам. В апреле 1886 г. обсуждение «чиншевого вопроса» шло в заседаниях Государственного совета и завершилось 9 июня принятием особого Положения.

³³ ...*книгу «30 000 иностранных слов...»* – Издание Словаря А. Д. Михельсона «30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с объяснением их корней. Сост. по словарям: Гейзе, Рейфа и др.» (М., 1866). В дополненном и переработанном виде словарь многократно переиздавался в последующие годы.

³⁴ ...*заводят речь о Бисмарке...* – Весной 1886 г. европейская пресса горячо обсуждала положение, создавшееся в Германии, – оппозицию рейхстага ряду законопроектов могущественного канцлера (укрепление русско-прусской границы, ограничение гласности в судебных делах, закон «о социалистах», введение водочной монополии и т. д.), что вызвало слухи о намерении Бисмарка произвести государственный переворот и ожидание серьезных международных осложнений.

³⁵ ...*женщина – ничтожество ей имя!* – Не совсем точные слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира, в переводе Н. А. Полевого (д. I, явл. 2).

Она порочна и безнравственна. От нее идет начало всех зол. В одной старинной книге сказано: «Mulier est malleus, per quem diabolus mollit et malleat universum mundum».³⁶ Когда дьяволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщин. Помните, что из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война³⁷, Мессалина совратила с пути истины не одного паиньку... Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены.³⁸ Это совершенно верно. Пропивают, в винт проигрывают и на Амалий тратят чиновники только жалованье... И имущества антрепренеров, казенных подрядчиков и секретарей теплых учреждений всегда записаны на имя жены. Распущена женщина донельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди!

Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.

Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла... Только одно и симпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и ужасно умных душек, как мужчины... За эту добродетель простим ей все ее грехи. Будем к ней великодушны все, даже кокотки в пиджаках и те господа, которых бьют в клубах подсвечниками по мордасам.

³⁶ «Женщина это молот, которым дьявол размягчает и молотит весь мир» (*лат.*). Возможно, шутивная реминисценция из широко известной в эпоху средневековья книги Я. Шпренгера и Г. Инститориса «Молот ведьм» («Malleus maleficarum»), изуверского кодекса преступлений женщин, продавшихся дьяволу.

³⁷ ...из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война... – Похищение Елены Парисом послужило поводом к войне (ср. «Илиаду» Гомера, песнь III). «Belle Нийле» («Прекрасная Елена») – название оперетты Ж. Оффенбаха.

³⁸ ...Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. – В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь писал: «...большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительства их жен<...> или же от пустоты их домашней жизни <...> Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг» и т. д. (гл. II. «Женщина в свете»).

Знакомый мужчина

Прелестнейшая Ванда, или, как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала: без приюта и без копейки денег. Как быть?

Она первым делом отправилась в ссудную кассу и заложила там кольцо с бирюзой – единственную свою драгоценность. Ей дали за кольцо рубль, но... что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета, а без этих вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядят на нее и смеются над простотой ее платья. И думала она только о платье, вопрос же о том, что она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее нисколько.

«Хоть бы мужчину знакомого встретить... – думала она. – Я взяла бы денег... Мне ни один не откажет, потому что...»

Но знакомые мужчины не встречались. Их не трудно встретить вечером в «Ренессансе», но в «Ренессанс» не пустят в этом простом платье и без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать, Ванда решила пуститься на последнее средство: сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег.

«К кому бы сходить? – размышляла она. – К Мише нельзя – семейный... Рыжий старик теперь на службе...»

Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, выкресте, который месяца три назад подарил ей браслет и которому она однажды за ужином в Немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Он наверное даст, лишь бы только мне дома его застать... – думала она, идя к нему. – А не даст, так я у него там все лампы перебью».

Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план: она со смехом взбежит по лестнице, влетит к врачу в кабинет и потребует 25 рублей... Но когда она взялась за звонок, этот план как-то сам собою вышел из головы. Ванда вдруг начала труситься и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она бывала смела и нахальна только в пьяных компаниях, теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно.

«Может быть, он уж забыл про меня... – думала она, не решаясь дернуть за звонок. – И как я пойду к нему в таком платье? Точно нищая или мещанка какая-нибудь...»

И нерешительно позвонила.

За дверью послышались шаги; это был швейцар.

– Доктор дома? – спросила она.

Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал «нет», но тот, вместо ответа, впустил ее в переднюю и снял с нее пальто. Лестница показалась ей роскошной, великолепной, но из всей роскоши ей прежде всего бросилось в глаза большое зеркало, в котором она увидела оборвашку без высокой шляпы, без модной кофточки и без туфель бронзового цвета. И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а как раньше, Настей Канавкиной...

– Пожалуйста! – сказала горничная, провожая ее в кабинет. – Доктор сейчас... Садитесь. Ванда опустилась в мягкое кресло.

«Так и скажу: дайте займы! – думала она. – Это прилично, потому что ведь он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда. При горничной неловко... И зачем она тут стоит?»

Минут через пять отворилась дверь и вошел Финкель, высокий черномазый выкрест с жирными щеками и с глазами навывкате. Щеки, глаза, живот, толстые бедра – всё это у него было так сыто, противно, сурово. В «Ренессансе»³⁹ и в Немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе, много тратил там на женщин и терпеливо сносил их шутки (например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем); теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал.

– Что прикажете? – спросил он, не глядя на Ванду.

Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, по-видимому, не узнавал ее, и покраснела...

– Что прикажете? – повторил зубной врач уже с раздражением.

– Зу... зубы болят... – прошептала Ванда.

– Ага... Какие зубы? Где?

Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом.

– Внизу направо... – сказала она.

– Гм!.. Раскрывайте рот.

Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб.

– Больно? – спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой.

– Больно... – солгала Ванда. – «Напомнить ему, – думала она, – так он наверное бы узнал... Но... горничная! Зачем она тут стоит?»

Финкель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал:

– Я не советую вам плюмбуровать его... Из етова зуба вам никакого пользы, всё равно.

Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десны Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным... Ванда вдруг почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.

– Ничего, ничего... – бормотал он. – Вы не пугайтесь... Из этим зубом вам всё равно мало толку. Надо быть храброй.

И табачные, окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб, а горничная подошла и подставила к ее рту чашку.

– Дома вы холодной водой рот полоскайте... – сказал Финкель, – и тогда кровь остановится...

Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же наконец уйдут, оставят его в покое...

– Прощайте... – сказала она, поворачиваясь к двери.

– Гм!.. А кто же мне заплатит за работу? – спросил смеющимся голосом Финкель.

– Ах, да... – вспомнила Ванда, покраснела и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой.

Выйдя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде, но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточка. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год – всю жизнь, до самой смерти...

– О, как это страшно! – шептала она. – Как ужасно, боже мой!

Впрочем, на другой день она уже была в «Ренессансе» и танцевала там. На ней была новая, громадная, красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани.

³⁹ «Ренессанс» – петербургский кафе-шантан, открывший сезон 2 марта 1886 г. «увеселительными вечерами»; получил известность как «двусмысленный театр» и «злачное место», охотно посещавшееся женщинами легкого поведения.

Сказка

Посвящ<ается> балбесу, хвастающему своим сотрудничеством в газетах

Некая муха летала по всем комнатам и громко хвастала тем, что сотрудничает в газетах.

– Я писательница! Я журналистка! – жужжала она. – Расступитесь, невежи!

Слыша это, все комары, тараканы, клопы и блохи прониклись уважением к ее особе и многие даже пригласили ее к себе обедать и дали займы денег, а паук, боящийся гласности, забился в угол и решил не попадаться на глаза мухе...

– А в каких газетах вы сотрудничаете, Муха Ивановна? – спросил ее комар, который посмелее.

– Почти во всех! Есть даже газеты, которым я своим личным участием придаю окраску, тон и даже направление!.. Без меня многие газеты были бы лишены своего характера!

– Что же вы в газетах пишете, Муха Ивановна?

– Я веду там особый отдел...

– Какой?

– А вот какой!

И журналистка-муха указала на бесчисленные точки, которыми был покрыт засиженный мухами газетный лист.

Счастличик

Со станции Бологое, Николаевской железной дороги, трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса «для курящих», окутанные вагонными сумерками, дремлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина.

Отворяется дверь, и в вагон входит высокая, палкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и жюль-верновских корреспондентов⁴⁰.

Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны.

– Нет, и это не тот! – бормочет она. – Чёрт знает что такое! Это просто возмутительно! Нет, не тот!

Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик:

– Иван Алексеевич! Какими судьбами? Это вы?

Палкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками.

– Га! Петр Петрович! – говорит он. – Сколько зим, сколько лет! А я и не знал, что вы в этом поезде едете.

– Живы, здоровы?

– Ничего себе, только вот, батенька, вагон свой потерял и никак теперь его не найду, этакая я идиотина! Пороть меня некому!

Палкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает.

– Бывают же такие случаи! – продолжает он. – Вышел я после второго звонка коньяку выпить. Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку. Пока я думал и пил, тут третий звонок... я, как сумасшедший, бегу и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотина ли я? Не курицын ли сын?

– А вы, заметно, в веселом настроении, – говорит Петр Петрович. – Подсаживайтесь-ка! Честь и место!

– Ни-ни... пойду свой вагон искать! Прощайте!

– В потемках вы, чего доброго, с площадки свалитесь. Садитесь, а когда подыдем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь!

Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича. Он, видимо, возбужден и двигается, как на иголках.

– Куда едете? – спрашивает Петр Петрович.

– Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Везет судьба, ну и еду. Ха-ха... Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот глядите! Перед вами счастливейший из смертных! Да-с! Ничего по моему лицу не заметно?

– То есть заметно, что... вы того... чуточку.

– Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо! Эх, жалко, зеркала нет, поглядел бы на свою мордололизацию! Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь. Честное слово! Ха-ха... Я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курицын ли сын?

– Вы? Разве вы женились?

– Сегодня, милейший! Повенчался и прямо на поезд.

⁴⁰ ...*жюль-верновских корреспондентов*. – Возможно, здесь сопоставляется внешний вид «счастличика» с персонажем романа «Таинственный остров» – корреспондентом газеты «Нью-Йорк геральд» Гедеоном Спилетом (первое русское издание романа – СПб., 1875).

Начинаются поздравления и обычные вопросы.

– Ишь ты... – смеется Петр Петрович. – То-то вы франтом таким разрядились.

– Да-с... Для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету! Ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то этакого... чёрт его знает, как его и назвать... благодушия, что ли? Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал!

Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой.

– Возмутительно счастлив! – говорит он. – Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там, на диванчике, около окошка сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Этакая блондиночка с носиком... с пальчиками... Душечка моя! Ангел ты мой! Пупырычок ты этакий! Филлоксера⁴¹ души моей! А ножка! Господи! Ножка ведь не то, что вот наши ножищи, а что-то этакое миниатюрное, волшебное... аллегорическое! Взял бы да так и съел эту ножку! Э, да вы ничего не понимаете! Ведь вы материалисты, сейчас у вас анализ, то да сё! Сухие холостяки, и больше ничего! Вот когда женитесь, то вспомните! Где-то теперь, скажете, Иван Алексеевич? Да-с, так вот пойду я сейчас в свой вагон. Там уж меня с нетерпением ждут... предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь и этак двумя пальчиками за подбородочек...

Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом.

– Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина... поэтический полумрак. Весь бы мир обнял в эти минуты. Петр Петрович, позвольте мне вас обнять!

– Сделайте одолжение.

Приятели при дружном смехе пассажиров обнимаются, и счастливый новобрачный продолжает:

– А для большего идиотства или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, пойдем к буфету и опрокидонтом рюмочки две-три. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет... Весь свет собой обхватываю!

Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уж пять. Он вертится, как на иголках, брызжет, машет руками и болтает без умолку. Он хохочет, и все хохочут.

– Главное, господа, поменьше думать! К чёрту все эти анализы... Хочется выпить, ну и пей, а нечего там философствовать, вредно это или полезно... Все эти философии и психологии к чёрту!

Через вагон проходит кондуктор.

– Милый человек, – обращается к нему новобрачный, – как будете проходить через вагон № 209, то найдите там даму в серой шляпке с белой птицей и скажите ей, что я здесь!

– Слушаю. Только в этом поезде нет 209 №. Есть 219!

– Ну, 219! Всё равно! Так и скажите этой даме: муж цел и невредим!

Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет:

– Муж... Дама... Давно ли это? Муж... Ха-ха... Пороть тебя нужно, а ты – муж! Ах, идиотина! Но она! Вчера еще была девочкой... козявочкой... Просто не верится!

– В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека, – говорит один из пассажиров. – Скорей белого слона увидишь.

– Да, а кто виноват? – говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. – Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-с, а вы как думали?

⁴¹ Филлоксера... – В мае 1886 г. печать сообщила о повальном заражении и гибели виноградников во Франции от тли филлоксеры.

Человек есть сам творец своего собственного счастья. Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья!

– Вот те на! Каким образом?

– Очень просто!.. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки, а вы ведь не слушаетесь природы, всё чего-то ждете. Далее... В законе сказано, что нормальный индивидуум должен вступить в брак... Без брака счастья нет. Припело время благоприятное, ну и женись, нечего канителить... Но ведь вы не женитесь, всё чего-то ждете! Засим в писании сказано, что вино веселит сердце человеческое...⁴² Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное – не мудрствовать, а жарить по шаблону! Шаблон великое дело!

– Вы говорите, что человек творец своего счастья. Какой к чёрту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтоб счастье его полетело вверх тормашкой? Всё зависит от случая. Случись сейчас с нами кукуевская катастрофа⁴³, вы другое бы запели...

– Чепуха! – протестует новобрачный. – Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаям. Редки случаи! Ну их к чёрту! И говорить даже о них не хочу! Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем.

– Вы теперь куда едете? – спрашивает Петр Петрович. – В Москву или куда-нибудь южнее?

– Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее?

– Но ведь Москва не на севере.

– Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург! – говорит Иван Алексеевич.

– В Москву мы едем, помилосердствуйте!

– То есть как же в Москву? – изумляется новобрачный.

– Странно... Вы куда билет взяли?

– В Петербург.

– В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали.

Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию.

– Да, да, – поясняет Петр Петрович. – В Бологом вы не в тот поезд вскочили... Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть.

Иван Алексеевич бледнеет, хватается себя за голову и начинает быстро шагать по вагону.

– Ах, я идиотина! – негодует он. – Ах, я подлец, чтобы меня черти съели! Ну, что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена! Она там одна, ждет, томится! Ах, я шут гороховый!

Новобрачный падает на диван и ежится, точно ему наступили на мозоль.

– Несчастный я человек! – стонет он. – Что же я буду делать? Что?

– Ну, ну... – утешают его пассажиры. – Пустяки... Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните.

– Курьерский поезд! – плачет новобрачный, «творец своего счастья». – А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!

Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливица деньгами.

⁴² ...в писании сказано, что вино веселит сердце человеческое. – Псалтырь, псалом 103, 15.

⁴³ ...кукуевская катастрофа... – Крушение почтового поезда с большим числом жертв (более 100 убитых и раненых), происшедшее 30 июня 1882 г. на Московско-Курской жел. дор. (близ дер. Кукуевки Миенского уезда). О реакции Чехова на первые слухи о катастрофе и полученном им при этом «реприманде» от генерала на Всероссийской выставке – см. в кн.: Вокруг Чехова, стр. 134—135.

Тайный советник

В начале апреля 1870 года моя матушка Клавдия Архиповна, вдова поручика, получила из Петербурга, от своего брата Ивана, тайного советника, письмо, в котором, между прочим, было написано: «Болезнь печени вынуждает меня каждое лето жить за границей, а так как в настоящее время у меня нет свободных денег для поездки в Мариенбад, то весьма возможно, что этим летом я буду жить у тебя в твоей Кочуевке, дорогая сестра...»

Прочитав письмо, моя матушка побледнела и затряслась всем телом, потом на лице ее появилось выражение смеха и плача. Она заплакала и засмеялась. Эта борьба плача со смехом всегда напоминает мне мельканье и треск ярко горящей свечи, когда на нее брызжут водой. Прочитав письмо еще раз, матушка созвала всех домочадцев и прерывающимся от волнения голосом стала объяснять нам, что всех братьев Гундасовых было четверо: один Гундасов помер еще младенцем, другой пошел по военной и тоже помер, третий, не в обиду будь ему сказано, актер, четвертый же...

– До четвертого рукой не достанешь, – всхлипывала матушка. – Родной мне брат, вместе росли, а я вся дрожу и дрожу... Ведь тайный советник, генерал! Как я его, ангела моего, встречу? О чем я, дура необразованная, разговаривать с ним стану? Пятнадцать лет его не видала! Андрюшенька, – обратилась ко мне матушка, – радуйся, дурачок! Это на твое счастье бог его посылает!

После того, как мы узнали самую подробную историю Гундасовых, в усадьбе поднялась суматоха, какую я привык видеть только перед святками. Были пощажены только небесный свод и вода в реке, всё же остальное подверглось чистке, мытью и окраске. Если бы небо было ниже и меньше, а река не бежала так быстро, то и их бы поскребли кирпичом и потеряли мочалкой. Стены были белы как снег, но их побелили; полы сияли и лоснились, но их мыли каждый день. Кота Куцего (в бытность мою младенцем я ножом, которым колют сахар, отхватил ему добрую четверть хвоста, отчего он и получил прозвище Куцего) отнесли из хором в кухню и отдали под начало Анисьи; Федьке сказано было, что если собаки будут подходить близко к крыльцу, то его «бог накажет». Но никому так не доставалось, как бедным диванам, креслам и коврам! Никогда в другое время их не били так сильно палками, как теперь, в ожидании гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дело взлетали к самому небу.

Приходил из Новостроевки портной Спиридон, единственный во всем уезде портной, державший шить на господ. Это был человек непьющий, работающий и способный, не лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но, тем не менее, шивший отвратительно. Всё дело портили сомнения... Мысль, что он шьет недостаточно модно, заставляла его переделывать каждую вещь по пяти раз, ходить пешком в город специально за тем только, чтобы изучать франтов и в конце концов одевать нас в костюмы, которые даже карикатурист назвал бы утрировкой и шаржем. Мы щеголяли в невозможно узких брюках и в таких коротких пиджаках, что в присутствии барышень нам всегда становилось совестно.

Этот Спиридон долго снимал с меня мерку. Он вымерил всего меня вдоль и поперек, точно собирался обить меня обручами, что-то долго записывал на бумажке толстым карандашом и всю свою мерку иззубрил треугольными значками. Покончив со мной, он принялся за моего учителя Егора Алексеевича Победимского. Мой незабвенный учитель находился тогда в поре, когда люди следят за ростом своих усов и относятся критически к платью, а потому можете себе представить священный ужас, с каким Спиридон приступил к моему учителю! Егор Алексеевич должен был откинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридон вымерял его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как влюбленный голубь около голубки, становился на одно колено, изгибался

крючком... Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угоревшая от утюгов, глядела на всю эту длинную процедуру и говорила:

– Смотри же, Спиридон, бог с тебя взыщет, если сукно испортишь! И счастья тебе не будет, коли не потрафишь!

От слов матушки Спиридона бросало то в жар, то в пот, потому что он был уверен, что не пострадает. За шитье моего костюма он взял 1 руб. 20 коп., а за костюм Победимского 2 руб., причем сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не может показаться дорогим, тем более, что от Новостроевки до нас было девять верст, а портной приходил для примерки раза четыре. Когда мы, примеряя, натягивали на себя узкие брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякий раз брезгливо морщилась и удивлялась:

– Бог знает какая нынче мода пошла! Даже глядеть совестно. Не будь братец столичным, право, не стала бы я шить вам по-модному!

Спиридон, радуясь, что бранят не его, а моду, пожимал плечами и вздыхал, как бы желая сказать: «Ничего не поделаешь: дух времени!»

Волнение, с которым мы ожидали приезда гостя, можно сравнить только с тем напряжением, с каким спириты с минуты на минуту ожидают появления духа. Матушка носилась с мигренью и ежеминутно плакала. Я потерял аппетит, плохо спал и не учил уроков. Даже во сне меня не оставляло желание поскорее увидеть генерала, то есть человека с эполетами, с шитым воротником, который прет под самые уши, и с обнаженной саблей в руке – точь-в-точь такого, какой висел у нас в зале над диваном и тарасил страшные черные глаза на всякого, кто осмеливался глядеть на него. Один только Победимский чувствовал себя в своей тарелке. Он не ужасался, не радовался, а только изредка, выслушивая от матушки историю рода Гундасовых, говорил:

– Да, приятно будет поговорить со свежим человеком.

На моего учителя у нас в усадьбе глядели как на натуру исключительную. Это был молодой человек, лет двадцати, угреватый, лохматый, с маленьким лбом и с необычайно длинным носом. Нос был так велик, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, должен был наклонять голову набок по-птичьему. По нашим понятиям, во всей губернии не было человека умнее, образованнее и галантнее. Кончил он шесть классов гимназии, потом поступил в ветеринарный институт, откуда был исключен, не проучившись и полугода. Причину исключения он тщательно скрывал, что давало возможность всякому желающему видеть в моем воспитателе человека пострадавшего и до некоторой степени таинственного. Говорил он мало и только об умном, ел в пост скромное и на окружающую жизнь иначе не глядел, как только свысока и презрительно, что, впрочем, не мешало ему принимать от моей матушки подарки в виде костюмов и рисовать на моих змеях глупые рожи с красными зубами. Матушка не любила его за «гордость», но преклонялась пред его умом.

Гостя недолго ждали. В начале мая на двух возах прибыли со станции большие чемоданы. Эти чемоданы глядели так величественно, что, снимая их с возов, кучера машинально снимали шапки.

«Должно быть, – подумал я, – в этих сундуках мундиры и порох...»

Почему порох? Вероятно, понятие о генеральстве в моей голове было тесно связано с пушками и порохом.

Утром десятого мая, когда я проснулся, нянька шёпотом объявила мне, что «приехали дяденька». Я быстро оделся и, кое-как умывшись, не молясь богу, полетел из спальни. В сенях я наткнулся на высокого, плотного господина, с фешенебельными бакенами и в франтовском пальто. Помертвев от священного ужаса, я подошел к нему и, припоминая составленный матушкой церемониал, шаркнул перед ним ножкой, низко поклонился и потянулся к ручке, но господин не дал мне поцеловать руку и объявил, что он не дядя, а только дядин камердинер Петр. Вид этого Петра, одетого гораздо богаче, чем я и Победимский, поверг меня в крайнее

изумление, не оставляющее меня, говоря по правде, и до сегодня: неужели такие солидные, почтенные люди, с умными и строгими лицами, могут быть лакеями? И ради чего?

Петр сказал мне, что дядя с матушкой в саду. Я бросился в сад.

Природа, не знавшая истории рода Гундасовых и чина моего дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнее и развязнее, чем я. В саду происходила возня, какая бывает только на ярмарках. Бесчисленные скворцы, рассекая воздух и прыгая по аллеям, с криком и шумом гонялись за майскими жуками. В сиреневых кустах, которые своими нежными пахучими цветами лезли прямо в лицо, копошились воробьи. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пение иволги, писканье удода и кобчика. В другое время я начал бы гоняться за стрекозами или бросать камнями в ворона, который сидел на невысокой копне под осиной и поворачивал в стороны свой тупой нос, теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодело в животе: я готовился увидеть человека с эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарование! Рядом с матушкой гулял по саду тоненький, маленький франт в белой шёлковой паре и в белой фуражке. Заложив руки в карманы, откинув назад голову, то и дело забегая вперед матушки, он казался совсем молодым человеком. Во всей фигуре его было столько движения и жизни, что предательскую старость я мог увидеть только подойдя поближе сзади и взглянув на края фуражки, где серебрились коротко остриженные волосы. Вместо солидности и генеральской тугоподвижности, я увидел почти мальчишескую вертлявость; вместо воротника, прущего под уши, – обыкновенный голубой галстук. Матушка и дядя гуляли по аллее и беседовали. Я тихо подошел к ним сзади и стал ждать, когда кто-нибудь из них оглянется.

– Какой у тебя здесь восторг, Кладя! – говорил дядя. – Как мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здесь такая прелесть, ни за что бы в те годы не ездил за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхал тюльпан. Что только ни попадалось ему на глаза, всё возбуждало в нем восторг и любопытство, словно отродясь он не видел сада и солнечного дня. Станный человек двигался как на пружинах и болтал без умолку, не давая матушке сказать ни одного слова. Вдруг на повороте аллеи из-за бузины показался Победимский. Появление его было так неожиданно, что дядя вздрогнул и отступил шаг назад. В этот раз мой учитель был в своей парадной крылатке с рукавами, в которой он, в особенности сзади, очень походил на ветряную мельницу. Вид у него был величественный и торжественный. Прижав по-испански шляпу к груди, он сделал шаг к дяде и поклонился, как кланяются маркизы в мелодрамах: вперед и несколько набок.

– Честь имею представиться вашему высокопревосходительству, – сказал он громко, – педагог и преподаватель вашего племянника, бывший слушатель ветеринарного института, дворянин Победимский!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушке. Она улыбнулась и замерла от сладкого ожидания, что он скажет еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавший, что на его величественное обращение ему и ответят величественно, то есть скажут по-генеральски «гм» и протянут два пальца, сильно сконфузился и оробел, когда дядя приветливо засмеялся и крепко пожал ему руку. Он пробормотал еще что-то несвязное, закашлялся и отошел в сторону.

– Ну, не прелесть ли? – засмеялся дядя. – Ты погляди: надел размахайку и думает, что он очень умный человек! Нравится мне это, клянусь богом!.. Сколько ведь в ней, в этой глупой размахайке, юного апломба, жизни! А это что за мальчик? – спросил он, вдруг обернувшись и увидев меня.

– Это мой Андрюшенька, – отрекомендовала меня матушка, зардевшись. – Утешение мое...

Я шаркнул по песку ножкой и низко поклонился.

– Молодец мальчик... молодец мальчик... – забормотал дядя, отнимая от моих губ руку и глядя меня по голове. – Тебя Андрюшей зовут? Так, так... М-да... клянусь богом... Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, как все матери, начала описывать мои успехи по наукам и благонравие, а я шел около дяди и, согласно церемониалу, не переставал отвешивать низкие поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тот счет, что с моими замечательными способностями мне не мешало бы поступить в кадетский корпус на казенный счет, и когда я, согласно церемониалу, должен был заплакать и попросить у дядюшки протекции, дядя вдруг остановился и в изумлении расставил руки.

– Б-батюшки! Это же что? – спросил он.

Прямо на нас по аллее шла Татьяна Ивановна, жена Федора Петровича, нашего управляющего. Она несла белую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо нас, она робко, сквозь ресницы взглянула на гостя и зарделась.

– Час от часу не легче... – процедил дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслед. – У тебя, сестра, что ни шаг, то сюрприз... клянусь богом.

– Она у нас красавица... – сказала матушка. – Федору ее из посада высватали... за сто верст отсюда...

Татьяну Ивановну не всякий назвал бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лице и во всей фигуре ее не было ни одной крупной черты, ни одного смелого штриха, на котором мог бы остановиться глаз, точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновения и уверенности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, редко смеялась, и вся жизнь ее была так же ровна и плоска, как лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя шурил ей вслед глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрела на его улыбающееся лицо и сделалась серьезной.

– А вы, братец, так-таки и не женились! – вздохнула она.

– Не женился...

– Почему? – тихо спросила матушка.

– Как тебе сказать, жизнь так сложилась. Смолоду слишком заработался, не до жизни было, а когда жить захотелось – оглянулся, то за моей спиной уж 50 лет стояло. Не успел! Впрочем, говорить об этом... скучно.

Матушка и дядя оба разом вздохнули и пошли дальше, а я отстал от них и побежал искать учителя, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Победимский стоял посреди двора и величественно глядел на небо.

– Заметно, что развитой человек! – сказал он, покрутив головой. – Надеюсь, что мы с ним сойдемся.

Через час подошла к нам матушка.

– А у меня, голубчики, горе! – начала она, задыхаясь. – Ведь братец с лакеем приехал, а лакей такой, бог с ним, что ни в кухню его не сунешь, ни в сени, а непременно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мне делать! Вот что разве, деточки, не перебраться ли вам куда во флигель к Федору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы ответили полным согласием, потому что жить во флигеле гораздо свободнее, чем в доме, на глазах у матушки.

– Горе, да и только! – продолжала матушка. – Братец сказал, что он будет обедать не в полдень, а в седьмом часу, по-столичному. Просто у меня с горя ум за разум зашел! Ведь к 7 часам весь обед перепарится в печке. Право, мужчины совсем ничего не понимают в хозяйстве, хотя они и большого ума. Придется, горе мое, два обеда стряпать! Вы, деточки, обедайте по-прежнему в полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата до семи часов.

Затем матушка глубоко вздохнула, приказала мне понравиться дядюшке, которого бог прислал на мое счастье, и побежала в кухню. В тот же день я и Победимский переселились во флигель. Нас поместили в проходной комнате, между сенями и спальней управляющего.

Несмотря на приезд дяди и новоселье, жизнь, сверх ожидания, потекла прежним порядком, вялая и однообразная. От занятий «по случаю гостя» мы были освобождены. Победимский, который никогда ничего не читал и ничем не занимался, сидел обыкновенно у себя на кровати, водил по воздуху своим длинным носом и о чем-то думал. Изредка он поднимался, примеривал свой новый костюм и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его – это мухи, по которым он нещадно хлопал ладонями. После обеда он обыкновенно «отдыхал», причем храпом наводил тоску на всю усадьбу. Я от утра до вечера бегал по саду или сидел у себя во флигеле и клеил змеев. Дядю в первые две-три недели мы видели редко. По целым дням он сидел у себя в комнате и работал, несмотря ни на мух, ни на жару. Его необыкновенная способность сидеть и прирастать к столу производила на нас впечатление необъяснимого фокуса. Для нас, лентяев, не знавших систематического труда, его трудолюбие было просто чудом. Проснувшись часов в 9, он садился за стол и не вставал до самого обеда; пообедав, опять принимался за работу – и так до поздней ночи. Когда я заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел неизменно одно и то же: дядя сидел за столом и работал. Работа заключалась в том, что он одной рукой писал, другой перелистывал книгу и, как это ни странно, весь двигался: качал ногой, как маятником, насвистывал и кивал в такт головой. Вид у него при этом был крайне рассеянный и легкомысленный, точно он не работал, а играл в нули и крестики. Каждый раз я видел на нем короткий, щегольской пиджак и ухарски завязанный галстук, и каждый раз, даже сквозь замочную скважину, от него пахло тонкими женскими духами. Выходил он из своей комнаты только обедать, но обедал плохо.

– Не пойму я братца! – жаловалась на него матушка. – Каждый день нарочно для него режем индейку и голубей, сама своими руками делаю компот, а он скушает тарелочку бульону да кусочек мяса с палец и идет из-за стола. Стану умолять его, чтоб ел, он воротится к столу и выпьет молочка. А что в нем, в молоке-то? Те же помои! Умрешь от такой еды... Начнешь его уговаривать, а он только смеется да шутит... Нет, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у нас гораздо веселее, чем дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинные тени, мы, то есть Татьяна Ивановна, Победимский и я, уже сидели на крылечке флигеля. До самых потемок мы молчали. Да и о чем прикажете говорить, когда уже всё переговорено? Была одна новость – приезд дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель всё время не отрывал глаз от лица Татьяны Ивановны и глубоко вздыхал... Тогда я не понимал этих вздохов и не доискивался их смысла, теперь же они объясняют мне очень многое.

Когда тени на земле сливались в одну сплошную тень, с охоты или с поля возвращался управляющий Федор. Этот Федор производил на меня впечатление человека дикого и даже страшного. Сын обрусевшего изюмского цыгана, черномазый, с большими черными глазами, кудрявый, с всклоченной бородой, он иначе и не назывался у наших кочуевских мужиков, как «чертякой». Да и кроме наружности, в нем было много цыганского. Так, он не мог сидеть дома и по целым дням пропадал в поле или на охоте. Он был мрачен, желчен, молчалив и никого не боялся и не признавал над собой ничьей власти. Матушке он грубил, мне говорил «ты», а к учености Победимского относился презрительно. Всё это мы прощали ему, считая его человеком вспыльчивым и болезненным. Матушка же любила его, потому что он, несмотря на свою цыганскую натуру, был идеально честен и трудолюбив. Свою Татьяну Ивановну он любил страстно, как цыган, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстрадавшей. При нас он никогда не ласкал своей жены, а только злобно тарасил на нее глаза и кривил рот.

Возвратившись с поля, он со стуком и со злобой ставил во флигеле ружье, выходил к нам на крылечко и садился рядом с женой. Отдышавшись, он задавал жене несколько вопросов по части хозяйства и погружался в молчание.

– Давайте петь, – предлагал я.

Учитель настраивал гитару и густым, дьячковским басом затягивал «Среди долины ровных».⁴⁴ Начиналось пение. Учитель пел басом, Федор едва слышным тенорком, а я дискантом в один голос с Татьяной Ивановной.

Когда всё небо покрывалось звездами и умолкали лягушки, из кухни приносили нам ужин. Мы шли во флигель и принимались за еду. Учитель и цыган ели с жадностью, с треском, так что трудно было понять, хрустели то кости или их скулы, и мы с Татьяной Ивановной едва успевали съесть свои доли. После ужина флигель погружался в глубокий сон.

Однажды, было это в конце мая, мы сидели на крыльце и ожидали ужина. Вдруг мелькнула тень и перед нами, словно из земли выросши, предстал Гундасов. Он долго глядел на нас, потом всплеснул руками и весело засмеялся.

– Идиллия! – сказал он. – Поют и мечтают на луну! Прелестно, клянусь богом! Можно мне сесть с вами и помечтать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сел на нижнюю ступеньку, зевнул и поглядел на небо. Наступило молчание. Победимский, который давно уже собирался потолковать со свежим человеком, обрадовался случаю и первый нарушил молчание. Для умных разговоров у него была одна только тема – эпизоотии. Случается, что когда вы попадаете в тысячную толпу, вам почему-то из тысячи физиономий врезывается надолго в память только одна какая-нибудь, так и Победимский из всего того, что он успел услышать в ветеринарном институте за полгода, помнил только одно место:

«Эпизоотии приносят громадный ущерб народному хозяйству. В борьбе с ними общество должно идти рука об руку с правительством».

Прежде чем сказать это Гундасову, мой учитель раза три крикнул и несколько раз в волнении запахивался в крылатку. Услышав про эпизоотии, дядя пристально поглядел на учителя и издал носом смеющийся звук.

– Ей-богу, это мило... – пробормотал он, разглядывая нас, как манекенов. – Это именно и есть жизнь... Такою в сущности и должна быть действительность. А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? – обратился он к Татьяне Ивановне.

Та сконфузилась и кашлянула.

– Говорите, господа, пойте... играйте! Не теряйте времени. Ведь канальское время бежит, не ждет! Клянусь богом, не успеете оглянуться, как наступит старость... Тогда уж поздно будет жить! Так-то, Пелагея Ивановна... Не нужно сидеть неподвижно и молчать...

Тут из кухни принесли ужин. Дядя пошел за нами во флигель и за компанию съел пять творожников и утиное крылышко. Он ел и глядел на нас. Все мы возбуждали в нем восторг и умиление. Какую бы глупость ни сморозил мой незабвенный учитель и что бы ни сделала Татьяна Ивановна, всё находил он милым и восхитительным. Когда после ужина Татьяна Ивановна смиренно села в уголок и принялась за вязанье, он не отрывал глаз от ее пальчиков и болтал без умолку.

– Вы, друзья, как можно скорее спешите жить... – говорил он. – Храни вас бог жертвовать настоящим для будущего! В настоящем молодость, здоровье, пыл, а будущее – это обман, дым! Как только стукнет двадцать лет, так и начинайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочил, поднял иглу и с поклоном подал ее Татьяне Ивановне, и тут я впервые узнал, что на свете есть люди потоньше Победимского.

– Да... – продолжал дядя. – Любите, женитесь... делайте глупости. Глупость гораздо жизненнее и здоровее, чем наши потуги и погоня за осмысленной жизнью.

⁴⁴ «Среди долины ровных». – Песня на слова А. Ф. Мерзлякова (музыка народная в обработке О. А. Козловского и др.).

Дядя говорил много и долго, до того долго, что надоел нам, а я сидел в стороне на сундуке, слушал его и дремал. Мучило меня, что за всё время он ни разу не обратил на меня внимания. Ушел он из флигеля в два часа ночи, когда я, не справившись с дремотою, уже крепко спал.

С этого времени дядя стал ходить к нам во флигель каждый вечер. Он пел с нами, ужинал и всякий раз просиживал до двух часов, без умолку болтая всё об одном и том же. Вечерние и ночные работы были им оставлены, а к концу июня, когда тайный советник научился есть матушкины индейки и компоты, были брошены и дневные занятия. Дядя оторвался от стола и втянулся в «жизнь». Днем он шагал по саду, насвистывал и мешал рабочим, заставляя их рассказывать ему разные истории. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, он подбегал к ней и, если она несла что-нибудь, предлагал ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чем дальше вглубь уходило лето, тем легкомысленнее, вертлявее и рассеянное становился мой дядюшка. Победимский в нем совсем разочаровался.

– Слишком односторонний человек... – говорил он. – Ни капли незаметно, чтоб он стоял на высших ступенях иерархии. И говорить даже не умеет. После каждого слова: «клянусь богом». Нет, не нравится мне он!

С тех пор, как дядя начал посещать наш флигель, в Федоре и в моем учителе произошла заметная перемена. Федор перестал ходить на охоту, рано возвращался домой, сделался еще молчаливее и как-то особенно злобно пялил глаза на жену. Учитель же перестал в присутствии дяди говорить об эпизоотиях, хмурился и даже насмешливо улыбался.

– Идет наш мышинный жеребчик! – проворчал он однажды, когда дядя подходил к флигелю.

Такою перемену в обоих я объяснял себе тем, что они обиделись на дядю. Рассеянный дядя путал их имена, до самого отъезда не научился различать, кто из них учитель, а кто муж Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величал то Настасьей, то Пелагеей, то Евдокией. Умиляясь и восторгаясь нами, он смеялся и держал себя словно с малыми ребятами... Всё это, конечно, могло оскорблять молодых людей. Но дело было не в обиде, а, как теперь я понимаю, в более тонких чувствах.

Помню, в один из вечеров я сидел на сундуке и боролся с дремотой. На глаза мои ложился вязкий клей, и тело, утомленное целодневной беготней, клонило в сторону. Но я боролся со сном и старался глядеть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смиренная, как всегда, сидела у маленького столика и шила мужу рубаху. Из одного угла пялил на нее глаза Федор, мрачный и угрюмый, а в другом сидел Победимский, уходивший в высокие воротнички своей сорочки и сердито сопевший. Дядя ходил из угла в угол и о чем-то думал. Царило молчание, только слышно было, как в руках Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдруг дядя остановился перед Татьяной Ивановной и сказал:

– Такие вы все молодые, свежие, хорошие, так безмятежно живется вам в этой тишине, что я завидую вам. Я привязался к этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уехать отсюда... Верьте моей искренности!

Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то стук разбудил меня, дядя стоял перед Татьяной Ивановной и глядел на нее с умилением. Щеки у него разгорелись.

– Моя жизнь пропала, – говорил он. – Я не жил! Ваше молодое лицо напоминает мне мою погибшую юность, и я бы согласился до самой смерти сидеть здесь и глядеть на вас. С удовольствием я взял бы вас с собой в Петербург.

– Зачем это? – спросил хриплым голосом Федор.

– Поставил бы у себя на рабочем столе под стеклом, любовался бы и другим показывал. Вы знаете, Пелагея Ивановна, таких, как вы, там у нас нет. У нас есть богатство, знатность, иногда красота, но нет этой жизненной правды... этого здорового покоя...

Дядя сел перед Татьяной Ивановной и взял ее за руку.

– Так не хотите со мной в Петербург? – засмеялся он. – В таком случае дайте мне туда хоть вашу ручку... Прелестная ручка! Не дадите? Ну, скупая, позвольте хоть поцеловать ее...

В это время послышался треск стула. Федор вскочил и мерными, тяжелыми шагами подошел к жене. Лицо его было бледно-серо и дрожало. Он со всего размаха ударил кулаком по столу и сказал глухим голосом:

– Я не позволю!

Одновременно с ним вскочил со стула и Победимский. Этот, тоже бледный и злой, подошел к Татьяне Ивановне и тоже ударил кулаком по столу...

– Я... я не позволю! – сказал он.

– Что? Что такое? – удивился дядя.

– Я не позволю! – повторил Федор, стукнув по столу.

Дядя вскочил и трусливо замигал глазами. Он хотел говорить, но от изумленья и перепуга не сказал ни слова, конфузливо улыбнулся и старчески засеменя из флигеля, оставив у нас свою шляпу. Когда, немного погодя, во флигель прибежала встревоженная матушка, Федор и Победимский всё еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю!»

– Что у вас тут случилось? – спросила матушка. – Отчего с братцем сделалось дурно? Что такое?

Поглядев на бледную, испуганную Татьяну Ивановну и на ее расвирепевшего мужа, матушка, вероятно, догадалась, в чем дело. Она вздохнула и покачала головой.

– Ну, будет, будет бухотеть по столу! – сказала она. – Перестань, Федор! А вы-то чего стучите, Егор Алексеевич? Вы-то тут при чем?

Победимский спохватился и сконфузился. Федор пристально поглядел на него, потом на жену и зашагал по комнате. Когда матушка вышла из флигеля, я видел то, что долго потом считал за сон. Я видел, как Федор схватил моего учителя, поднял его на воздух и вышвырнул в дверь...

Когда я проснулся утром, постель учителя была пуста. На мой вопрос, где учитель, нянька шёпотом сказала мне, что его рано утром отвезли в больницу лечить сломанную руку. Опечаленный этим известием и припоминая вчерашний скандал, я вышел на двор. Погода стояла пасмурная. Небо заволочло тучами, и по земле гулял ветер, поднимая с земли пыль, бумажки и перья... Чувствовалась близость дождя. На людях и на животных была написана скука. Когда я пошел в дом, меня попросили не стучать ногами, сказав, что матушка больна мигренью и лежит в постели. Что делать? Я пошел за ворота, сел там на лавочку и стал искать смысла в том, что я вчера видел и слышал. От наших ворот шла дорога, которая, обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала в большую, почтовую дорогу... Я глядел на телеграфные столбы, около которых кружились облака пыли, на сонных птиц, сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что я заплакал.

По почтовой дороге проехала пыльная линейка, битком набитая горожанами, ехавшими, вероятно, на богомолье. Не успела линейка исчезнуть из вида, как показалась легкая пролетка, запряженная в пару. В ней, стоя и держась за пояс кучера, ехал становой Аким Никитич. К великому моему удивлению, пролетка свернула на нашу дорогу и пролетела мимо меня в ворота. Пока я недоумевал, зачем это прикатил к нам становой, послышался шум и на дороге показалась тройка. В коляске стоял исправник и показывал кучеру на наши ворота.

«А этот зачем? – думал я, разглядывая покрытого пылью исправника. – Это, вероятно, Победимский им на Федора пожаловался, и они приехали взять его в острог».

Но загадку не так легко было решить. Становой и исправник были только предтечи, потому что не прошло и пяти минут, как к нам в ворота въехала карета. Она так быстро мелькнула мимо меня, что, заглянув в каретное окно, я увидел одну только рыжую бороду.

Теряясь в догадках и предчувствуя что-то недоброе, я побежал к дому. В передней прежде всего я увидел матушку. Она была бледна и с ужасом глядела на дверь, из-за которой слышались мужские голоса. Гости застали ее врасплох, в самый разгар мигрени.

– Кто приехал, мама? – спросил я.

– Сестра! – послышался голос дяди. – Дай-ка нам с губернатором закусить чего-нибудь!

– Легко сказать: закусить! – прошептала матушка, млея от ужаса. – Что я теперь успею приготовить? Осрамилась на старости лет!

Матушка схватила себя за голову и побежала в кухню. Внезапный приезд губернатора поднял на ноги и ошеломил всю усадьбу. Поднялась ожесточенная резня. Зарезали штук десять кур, пять индеек, восемь уток и впопыхах обезглавили старого гусака, родоначальника нашего гусяного стада и любимца матери. Кучера и повар словно обезумели и резали птиц зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради какого-то соуса у меня погибла пара дорогих турманов, которые мне были так же дороги, как матушке гусак. Смерти их я долго не прощал губернатору.

Вечером, когда губернатор и его свита, сытно пообедав, сели в свои экипажи и уехали, я пошел в дом поглядеть на остатки пиршества. Заглянув из передней в залу, я увидел и дядю и матушку. Дядя, заложив руки назад, нервно шагал вдоль стен и пожимал плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудевшая, сидела на диване и большими глазами следила за движениями брата.

– Извини, сестра, но так нельзя... – брюзжал дядя, морща лицо. – Я представляю тебе губернатора, а ты ему руки не подаешь! Ты его сконфузила, несчастного! Нет, это не годится... Простота хорошая вещь, но ведь и она должна иметь пределы... клянусь богом... И потом этот обед! Разве можно такими обедами кормить? Например, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?

– Это утка под сладким соусом... – тихо ответила матушка.

– Утка... Прости, сестра, но... но у меня вот изжога! Я болен!

Дядя сделал кислое, плачущее лицо и продолжал:

– И чёрт принес этого губернатора! Очень мне нужен его визит! Пф... изжога! Я не могу ни спать, ни работать... Совсем развинтился... И как это, не понимаю, вы можете жить тут без работы... в этой скучище! Вот уж у меня и боль начинается под ложечкой!..

Дядя нахмурился и быстрее зашагал.

– Братец, – тихо спросила матушка, – а сколько стоит поехать за границу?

– По меньшей мере три тысячи... – ответил плачущим голосом дядя. – Я бы поехал, а где их взять? У меня ни копейки! Пф... изжога!

Дядя остановился, поглядел с тоской на серое, пасмурное окно и опять зашагал.

Наступило молчание... Матушка долго глядела на икону, что-то раздумывая, потом заплакала и сказала:

– Я, братец, дам вам три тысячи...

Дня через три величественные чемоданы были отправлены на станцию, а вслед за ними укатил и тайный советник. Прощаясь с матушкой, он заплакал и долго не мог оторвать губ от ее руки, когда же он сел в экипаж, лицо его осветилось детской радостью... Сияющий, счастливый, он уселся поудобней, сделал на прощанье плачущей матушке ручкой и вдруг неожиданно остановил свой взгляд на мне. На лице его появилось выражение крайнего удивления.

– А это что за мальчик? – спросил он.

Матушку, уверявшую меня, что дядюшку бог послал к нам на мое счастье, этот вопрос сильно покорибил. Мне же было не до вопросов. Я глядел на счастливое лицо дяди и мне почему-то было страшно жаль его. Я не выдержал, вскочил в экипаж и горячо обнял этого легкомысленного и слабого, как все люди, человека. Глядя ему в глаза и желая сказать что-нибудь приятное, я спросил:

– Дядя, вы были хоть раз на войне?

– Ах, милый мальчик... – засмеялся дядя, целуя меня, – милый мальчик, клянусь богом. Так всё это естественно, жизненно... клянусь богом...

Коляска тронулась... Я глядел ей вослед и долго слышал это прощальное «клянусь богом».

Литературная табель о рангах

Если всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам, произвести в чины, то:

Действительные тайные советники (вакансия).

Тайные советники: Лев Толстой, Гончаров.

Действительные статские советники: Салтыков-Щедрин, Григорович.

Статские советники: Островский, Лесков, Полонский.

Коллежские советники: Майков, Суворин, Гаршин, Буренин, Сергей Максимов, Глеб Успенский, Катков, Пыпин, Плещеев.

Надворные советники: Короленко, Скабичевский, Аверкиев, Боборыкин, Горбунов, гр. Салиас, Данилевский, Муравлин, Василевский, Надсон, Н. Михайловский.

Коллежские ассесоры: Минаев, Мордовцев, Авсеенко, Незлобин, А. Михайлов, Пальмин, Трефолов, Петр Вейнберг, Салов.

Титулярные советники: Альбов, Баранцевич, Михневич, Златовратский, Шпажинский, Сергей Атава, Чуйко, Мещерский, Иванов-Классик, Вас. Немирович-Данченко.

Коллежские секретари: Фруг, Апухтин, Вс. Соловьев, В. Крылов, Юрьев, Голенищев-Кутузов, Эргель, К. Случевский.

Губернские секретари: Нотович, Максим Белинский, Невежин, Каразин, Венгеро́в, Нефедов.

Коллежские регистраторы: Минский, Трофимов, Ф. Берг, Мясницкий, Лине́в, Засодимский, Бажин.

Не имеющий чина: Окрейц.

День за городом

(Сценка)

Девятый час утра.

Навстречу солнцу ползет темная, свинцовая громада. На ней то там, то сям красными зигзагами мелькает молния. Слышны далекие раскаты грома. Теплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Сейчас брызнет майский дождь и начнется настоящая гроза.

По селу бегают шестилетняя нищенка Фекла и ищет сапожника Терентия. Беловолосая босоногая девочка бледна. Глаза ее расширены, губы дрожат.

– Дяденька, где Терентий? – спрашивает она каждого встречного. Никто не отвечает. Все заняты приближающейся грозой и прячутся в избы. Наконец встречается ей пономарь Силантий Силыч, друг и приятель Терентия. Он идет и шатается от ветра.

– Дяденька, где Терентий?

– На огородах, – отвечает Силантий.

Нищенка бежит за избы на огороды и находит там Терентия. Сапожник Терентий, высокий старик с рябым худощавым лицом и с очень длинными ногами, босой и одетый в порванную женину кофту, стоит около грядок и пьяными, посоловелыми глазками глядит на темную тучу. На своих длинных, точно журавлиных, ногах он покачивается от ветра, как скворечня.

– Дядя Терентий! – обращается к нему беловолосая нищенка. – Дяденька, родненький!

Терентий нагибается к Фекле и его пьяное, суровое лицо покрывается улыбкой, какая бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое.

– А-аа... раба божия Фекла! – говорит он, нежно сюсюкая. – Откуда бог принес?

– Дяденька Терентий, – всхлипывает Фекла, дергая сапожника за полу. – С братцем Данилкой беда приключилась! Пойдем!

– Какая такая беда? У-ух, какой гром! Свят, свят, свят... Какая беда?

– В графской роще Данилка засунул в дупло руку и вытащить теперь не может. Поди, дяденька, вынь ему руку, сделай милость!

– Как же это он руку засунул? Зачем?

– Хотел достать мне из дупла кукушечье яйцо.

– Не успел еще день начаться, а у вас уже горе... – крутит головой Терентий, медленно сплевывая. – Ну, что ж мне таперя с тобой делать? Надо идтить... Надо, волк вас заешь, баловников! Пойдем, сирота!

Терентий идет с огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинает шагать вдоль по улице. Он идет быстро, не глядя по сторонам и не останавливаясь, точно его пихают сзади или пугают погоней. За ним едва поспевают нищенка Фекла.

Путники выходят из деревни и по пыльной дороге направляются к синевящей вдали графской роще. К ней версты две будет. А тучи уже заволокли солнце и скоро на небе не останется ни одного голубого местечка. Темнеет.

– Свят, свят, свят, – шепчет Фекла, спеша за Терентием.

Первые брызги, крупные и тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает на щеку Феклы и ползет слезой к подбородку.

– Дождь начался! – бормочет сапожник, взбудораживая пыль своими босыми костистыми ногами. – Это слава богу, брат Фекла. Дождиком трава и деревья питаются, как мы хлебом. А в рассуждении грома ты не бойся, сиротка. За что тебя этакую махонькую убивать?

Ветер, когда пошел дождь, утихает. Шумит только дождь, стуча, как мелкая дробь, по молодой ржи и сухой дороге.

– Измокнем мы с тобой, Феклушка! – бормочет Терентий. – Сухого места не останется... Хо-хо, брат! За шею потекло! Но ты не бойся, дура... Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех.

Над головами путников сверкает молния сажени в две длины. Раздается раскатистый удар, и Фекле кажется, что что-то большое, тяжелое и словно круглое катится по небу и прорывает небо над самой ее головой!

– Свят, свят, свят... – крестится Терентий. – Не бойся, сиротка! Не по злобе гремит.

Ноги сапожника и Феклы покрываются кусками тяжелой, мокрой глины. Идти тяжело, скользко, но Терентий шагает всё быстрее и быстрее... Маленькая, слабосильная нищая задыхается и чуть не падает.

Но вот наконец входят они в графскую рошу. Омытые деревья, потревоженные налетевшим порывом ветра, сыплют на них целый поток брызгов. Терентий спотыкается о пни и начинает идти тише.

– Где же тут Данилка? – спрашивает он. – Веди к нему!

Фекла ведет его в чашу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Ее брат, маленький, восьмилетний мальчик с рыжей, как охра, головой и бледным, болезненным лицом, стоит, прислонившись к дереву, и, склонив голову набок, косится на небо. Одна рука его придерживает поношенную шапчонку, другая спрятана в дупле старой липы. Мальчик всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей беды. Заслышав шаги и увидев сапожника, он болезненно улыбается и говорит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.